

Максим Горький

Трое



Максим Горький

Трое

«Public Domain»

1901

Горький М.

Трое / М. Горький — «Public Domain», 1901

«Ему было около сорока лет, когда в деревне случился пожар; он был обвинён в поджоге и сослан в Сибирь. На руках Терентия осталась жена Якова, помешавшаяся в уме во время пожара, и сын его Илья, десятилетний мальчик, крепкий, черноглазый, серьёзный... Когда этот мальчик появлялся на улице, ребяташки гонялись за ним и бросали в него камнями, а большие, видя его, говорили: – У, деймонёнок! Каторжное семя!.. Чтоб те сдохнуть!..».

Максим Горький

Трое

Среди лесов Керженца рассеяно много одиноких могил; в них тлеют кости старцев, людей древнего благочестия, об одном из таких старцев – Антипе – в деревнях, на Керженце, рассказывают:

Суровый характером, богатый мужик Антипа Лунёв, дожив во грехе мирском до пятидесяти лет, задумался крепко, затосковал и, бросив семью, ушёл в леса. Там, на краю крутого оврага, он срубил себе келью и жил в ней восемь лет кряду, зиму и лето, не допуская к себе никого: ни знакомых, ни родных своих. Порою люди, заблудясь в лесу, случайно выходили к его келье и видели Антипу: он молился, стоя на коленях у порога её. Был он страшный: иссох в посте и молитве и весь, как зверь, оброс волосами. Завидев человека, он поднимался на ноги и молча кланялся ему до земли. Если его спрашивали, как выйти из леса, он без слов указывал рукою дорогу, ещё кланялся человеку до земли и, уходя в свою келью, запирался в ней. За восемь лет его видели часто, но никто никогда не слышал его голоса. Жена и дети приходили к нему; он принимал от них пищу и одежду и, как всем людям, кланялся им земно, но, как всем людям, им тоже ни слова не сказал.

Умер он в год, когда разоряли скиты, и смерть его была такова:

Приехал в лес исправник с командой, и увидели они, что стоит Антипа среди кельи на коленях, безмолвно молится.

– Ты! – крикнул исправник. – Уходи! Ломать будем твоё логовище!.. – Но Антипа не слышал его.

И сколько ни кричал исправник – ни слова не ответил ему старец. Исправник велел вытащить Антипу из кельи. Но люди, видя старца, который, не замечая их, всё молился истово и неустанно, смутились пред твёрдостью его души и не послушали исправника. Тогда исправник приказал ломать келью, и осторожно, боясь ударить молящегося, они стали разбирать крышу.

Стучали над головой Антипы топоры, трещали доски, падая на землю, гулкое эхо ударов понеслось по лесу, заметались вокруг кельи птицы, встревоженные шумом, задрожала листва на деревьях. Старец молился, как бы не видя и не слыша ничего... Начали раскатывать венцы кельи, а хозяин её всё стоял неподвижно на коленях. И лишь когда откатили в сторону последние брёвна и сам исправник, подойдя к старцу, взял его за волосы, Антипа, вскинув очи в небо, тихо сказал богу:

– Господи милосливый... Прости их!

И, упав навзничь, умер.

Когда это случилось, старшему сыну Антипы, Якову, было двадцать три года, а младшему, Терентию, – восемнадцать лет. Красавец и силач Яков, ещё будучи подростком, приобрёл в селе прозвище Бесшабашного, а ко времени смерти отца был первым кутилой и буяном во всей округе. На него все жаловались – мать, староста, соседи; его сажали в холодную, пороли розгами, били и просто так, без суда, но это не укрощало Якова, и всё теснее становилось ему жить в деревне, среди раскольников, людей хозяйственных, как кроты, суровых ко всяким новшествам, упорно охранявших заветы древнего благочестия. Яков курил табак, пил водку, одевался в немецкое платье, на молитвы и радения не ходил, а когда степенные люди увещевали его, напоминая ему об отце, он насмешливо отзывался:

– Погодите, старички почтенные, – всему мера есть. Нагрешу вдоволь – покаюсь и я! А теперь – рано ещё. Батюшкой меня не корите, – он пять десятков лет грешил, а каялся – всего восемь!.. На мне грех – как на птенце пух, а вот вырастет греха, как на вороне пера, тогда, значит, молодцу пришла каяться пора...

– Еретик! – говорили про Якова Лунёва, ненавидели и боялись его. Года через два после смерти отца Яков женился. Он под корень подорвал разгульной жизнью крепкое, тридцатилетним трудом сколоченное хозяйство отца, и уже никто в родном селе не хотел выдать ему девушку в жёны. Где-то в дальней деревне он взял красавицу-сироту, а для того, чтоб сыграть свадьбу, продал отцов пчельник. Его брат Терентий, робкий, молчаливый горбун с длинными руками, не мешал ему жить; мать, хвора, лежала на печи и оттуда говорила ему зловещим, хриплым голосом:

– Окаянный!.. Пожалей свою душеньку!.. Опомнись!..

– Не беспокойтесь, маменька! – отвечал Яков. – Отец за меня перед богом заступится...

Сначала, почти целый год, Яков жил с женою мирно и тихо, даже начал работать, а потом опять закутил и, на целые месяцы исчезая из дома, возвращался к жене избитый, оборванный, голодный... Умерла мать Якова; на поминках по ней пьяный Яков изувечил старосту, давнего своего врага, и за это был посажен в арестантские роты. Отсидев срок, он снова явился в деревню, бритоголовый, угрюмый и злой. Деревня всё более ненавидела его, переносила свою ненависть и на семью Якова, а особенно на безобидного горбуна Терентия, – он с малых лет служил посмешищем для девок и парней. Якова звали арестантом и разбойником, Терентия – уродом и колдуном. Терентий молчал в ответ на ругань и насмешки, Яков же открыто грозил всем:

– Ладно! Погодите!.. Я вам покажу!

Ему было около сорока лет, когда в деревне случился пожар; он был обвинён в поджоге и сослан в Сибирь.

На руках Терентия осталась жена Якова, помешавшаяся в уме во время пожара, и сын его Илья, десятилетний мальчик, крепкий, черноглазый, серьёзный... Когда этот мальчик появлялся на улице, ребятишки гонялись за ним и бросали в него камнями, а большие, видя его, говорили:

– У, деймонёнок! Каторжное семя!.. Чтоб те сдохнуть!..

Неспособный к работе, Терентий до пожара торговал дёгтем, нитками, иглами и всякой мелочью, но огонь, истребивший половину деревни, уничтожил избу Лунёвых и весь товар Терентия, так что после пожара у Лунёвых осталась только лошадь да сорок три рубля денег – и больше ничего. Видя, что в деревне нельзя и нечем жить, Терентий сдал жену брата на попечение бобылке за полтинник в месяц, купил старенькую телегу, посадил в неё племянника и решил ехать в губернский город, надеясь, что там ему поможет жить дальний родственник Лунёвых Петруха Филимонов, буфетчик в трактире.

Выехал Терентий из родного пепелища ночью, тихо, как вор. Правил он лошадей и всё оглядывался назад большими, точно у телёнка, чёрными глазами. Лошадь шла шагом, телегу потряхивало, и скоро Илья, зарывшись в сено, уснул крепким сном ребёнка...

Проснулся он среди ночи от какого-то жуткого и странного звука, похожего на волчий вой. Ночь была светлая, телега стояла у опушки леса, около неё лошадь, фыркающая, щипала траву, покрытую росой. Большая сосна выдвинулась далеко в поле и стояла одинокая, точно её выгнали из леса. Зоркие глаза мальчика беспокойно искали дядю, в тишине ночи отчётливо звучали глухие и редкие удары копыт лошади по земле, тяжёлыми вздохами разносилось её фыркание, и уныло плавал непонятный дрожащий звук, пугая Илью.

– Дя-дя! – тихо позвал он.

– Ась? – торопливо отозвался Терентий, и вой вдруг замер.

– Ты где?

– Тут... Спи, знай...

Илья увидел, что дядя, чёрный и похожий на пень, вывороченный из земли, сидит у опушки леса на холме.

– Я боюсь, – сказал мальчик.

- Чего бояться?.. Одни мы...
- Кто-то воет...
- Приснилось тебе...
- Ей-богу, воет...
- Ну – волк это... Он – далеко... Спи...

Но Илье не спалось. Было жутко от тишины, а в ушах всё дрожал этот жалобный звук. Он пристально оглядел местность и увидел, что дядя смотрит туда, где, над горой, далеко среди леса, стоит пятиглавая белая церковь, а над нею ярко сияет большая, круглая луна. Илья узнал, что это ромодановская церковь, в двух верстах от неё, среди леса, над оврагом, стоит их деревня – Китежная.

- Недалеко мы уехали, – сказал он задумчиво.
 - Что? – спросил дядя.
 - Дальше бы уехать, говорю... Ещё придет кто-нибудь оттуда...
- Илья неприязненно кивнул головой по направлению к деревне.
- Уедем, погоди! – молвил дядя.

Снова стало тихо. Илья, облокотясь на передок телеги, тоже стал смотреть туда, куда дядя смотрел. Деревню было не видно в густой, чёрной тьме леса, но ему казалось, что он видит её, со всеми избами и людьми, со старой ветлой у колодца, среди улицы. У корней ветлы лежит отец его, связанный веревкой, в изорванной рубахе; руки у него прикручены за спину, голая грудь выпятилась вперед, а голова будто приросла к стволу ветлы. Лежит он неподвижно, как убитый, и страшными глазами смотрит на мужиков. Их много, все они кричат, ругаются. От этого воспоминания мальчику сделалось скучно и у него начало щипать в горле. Он почувствовал, что заплачет сейчас, но ему не хотелось тревожить дядю, и он сдерживался, всё плотнее сжимая своё маленькое тельце...

Вдруг снова в воздухе раздался тихий вой. Сначала кто-то тяжело вздохнул, всхлипнул и потом нестерпимо жалобно заныл:

- О-о-у-о-о!..
- Мальчик вздрогнул от страха и замер. А звук всё дрожал и рос в своей силе.
- Дядя! Это ты воешь?.. – крикнул Илья.

Терентий не ответил, не пошевелился. Тогда мальчик спрыгнул с телеги, подбежал к дяде, упал ему на ноги, вцепился в них и тоже зарыдал. Сквозь рыдания он слышал голос дяди:

- Выжили нас... Го-спо-ди! Куда пойдём... а?
- А мальчик, захлёбываясь слезами, говорил:
- Погоди... вырасту большой... я им задам!..

Наплакавшись, он стал дремать. Дядя взял его на руки, снёс в телегу, а сам опять ушёл прочь и снова завыл протяжно, жалобно, как маленькая собака.

Помнил Илья, как он приехал в город. Проснулся он рано утром и увидел перед собою широкую, мутную реку, а за нею, на высокой горе, кучу домов с красными и зелёными крышами и густые сады. Дома поднимались по горе густою, красивой толпой всё выше, на самом гребне горы они вытянулись в ровную линию и гордо смотрели оттуда через реку. Золотые кресты и главы церквей поднимались над крышами, уходя глубоко в небо. Только что взошло солнце; косые его лучи отражались в окнах домов, и весь город горел яркими красками, сиял золотом.

– Вот так – а-яй! – воскликнул мальчик, широко раскрытыми глазами глядя на чудесную картину, и замер в молчаливом восхищении. Потом в душе его родилась беспокойная мысль, – где будет жить он, маленький, вихрастый мальчик в пестрядинных штанишках, и его горбатый, неуклюжий дядя? Пустят ли их туда, в этот чистый, богатый, блестящий золотом, огромный

город? Он подумал, что их телега именно потому стоит здесь, на берегу реки, что в город не пускают людей бедных. Должно быть, дядя пошёл просить, чтобы пустили.

Илья с тревогой в сердце стал искать глазами дядю. Вокруг их телеги стояло ещё много возов; на одних торчали деревянные стойки с молоком, на других корзины с птицей, огурцы, лук, лукошки с ягодами, мешки с картофелем. На возах и около них сидели и стояли мужики, бабы, – совсем особенные. Говорили они громко, отчётливо, а одеты не в синюю пестрядину, а в пёстрые ситцы и ярко-красный кумач. Почти у всех на ногах сапоги, и хотя около них расхаживал человек с саблей на боку, но они не только не боялись его, а даже не кланялись ему. Это очень понравилось Илье. Сидя на телеге, он осматривал ярко освещённую солнцем живую картину и мечтал о времени, когда тоже наденет сапоги и кумачную рубаху. Вдали, среди мужиков, появился дядя Терентий. Он шёл, крепко упираясь ногами в глубокий песок, высоко поднимая голову; лицо у него было весёлое, и ещё издали он улыбался Илье, протянув к нему руку, что-то показывая.

– Господь за нас, Илюха! Дядю-то сразу нашёл я... На-ка вот, погрызи пока что!..

И дал Илье баранку.

Мальчик почти с благоговением взял её, сунул за пазуху и беспокойно спросил:

– Не пускают в город-то?

– Сейчас пустят... Вот придёт паром – и поедем.

– И мы?

– А как же? И мы!

– Ух! А я думал – нас не пустят... А там где мы будем жить-то?

– Это неизвестно...

– Вон бы в том большом-то, красном...

– Это казарма!.. Там солдаты живут...

– Ну, ин вон в том, – в-вон в этом!

– Ишь ты! Высоко нам до него!..

– Ничего! – уверенно сказал Илья. – Долзем!..

– Э-эх ты! – вздохнул дядя Терентий и снова куда-то ушёл.

Жить им пришлось на краю города, около базарной площади, в огромном сером доме. Со всех сторон к его стенам прилипли разные пристройки, одни – поновее, другие – такие же серо-грязные, как сам он. Окна и двери в этом доме были кривые, и всё в нём скрипело. Пристройки, забор, ворота – всё наваливалось друг на друга, объединяясь в большую кучу полугнилого дерева. Стёкла в окнах тусклы от старости, несколько брёвен в фасаде выпятились вперёд, от этого дом был похож на своего хозяина, который держал в нём трактир. Хозяин тоже старый и серый; глаза на его дряхлом лице были похожи на стёкла в окнах; он ходил, опираясь на толстую палку; ему, должно быть, тяжело было носить выпяченный живот.

Первые дни жизни в этом доме Илья всюду лазил и всё осматривал в нём. Дом поразил его своей удивительной ёмкостью. Он был так тесно набит людьми, что казалось – людей в нём больше, чем во всей деревне Китежной. В обоих этажах помещался трактир, всегда полный народа, на чердаках жили какие-то пьяные бабы; одна из них, по прозвищу Матица, – чёрная, огромная, басовитая, – пугала мальчика сердитыми, тёмными глазами. В подвале жил сапожник Перфишка с больной, безногою женой и дочкой лет семи, тряпичник дедушка Еремей, нищая старуха, худая, крикливая, её звали Полоротой, и извозчик Макар Степаныч, человек пожилой, смирный, молчаливый. В углу двора помещалась кузница; в ней с утра до вечера горел огонь, наваривали шины, ковали лошадей, стучали молотки, высокий, жилистый кузнец Савёл густым, угрюмым голосом пел песни. Иногда в кузнице являлась Савёлова жена, небольшая, полная женщина, русоволосая, с голубыми глазами. Она всегда накрывала голову белым платком, и было странно видеть эту белую голову в чёрной дыре кузницы. Она смеялась

серебристым смехом, а Савёл вторил ей громко, точно молотом бил. Но – чаще он в ответ на её смех рычал.

В каждой щели дома сидел человек, и с утра до поздней ночи дом сотрясался от крика и шума, точно в нём, как в старом, ржавом котле, что-то кипело и варилось. Вечерами все люди выползали из щелей на двор и на лавочку к воротам дома; сапожник Перфишка играл на гармонике, Савёл мычал песни, а Матица – если она была выпивши – пела что-то особенное, очень грустное, никому не понятными словами, пела и о чём-то горько плакала.

Где-нибудь в углу на дворе около дедушки Еремея собирались все жившие в доме ребята и, усевшись в кружок, просили его:

– Де-едушка! Расскажи сказочку!..

Дедушка смотрел на них болящими, красными глазами, из которых, не иссякая, текли по морщинам лица мутные слёзы, и, крепко нахлобучив на голову старую, рыжую шапку, заводил нараспев дрожащим, тонким голосом:

– «А и в некотором царствии, вот и в некотором государствии уродился фармазон-еретик от неведомых родителей, за грехи сыном наказанных богом господом всевидящим...»

Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и тряслась, когда он открывал свой чёрный, беззубый рот, тряслась и голова, а по морщинам щёк одна за другой всё катились слёзы.

– «А и дерзок был сей сын-еретик: во Христа-бога не веровал, не любил матери божией, мимо церкви шёл – не кланялся, отца, матери не слушался...»

Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча смотрели в его лицо.

Всех внимательнее слушал русский Яшка, сын буфетчика Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по всем предметам, точно боясь остановиться на чём-либо, а остановившись, странно выкатывались, придавая лицу мальчика овечьё выражение. Он выделялся из кучи ребят тонким бескровным лицом и чистой, крепкой одеждой. Илья сразу подружился с ним, в первый же день знакомства Яков таинственно спросил нового товарища:

– У вас в деревне колдунов много?

– Есть, – ответил Илья. – У нас шабер колдун был.

– Рыжий? – шёпотом осведомился Яков.

– Седой... они все седые...

– Седые – ничего... Седые – добрые... А вот которые рыжие – ух ты! Те кровь пьют...

Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между сараем и домом; здесь было тихо, и, кроме неба над головой да стены дома с тремя окнами, из которых два были заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках липы чирикали воробьи, на земле, у корней её, сидели мальчики и тихо беседовали обо всём, что занимало их.

Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и шумом что-то большее, пёстрое и ослепляло, оглушало его. Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором дядя Терентий, потный и мокрый, мыл посуду, Илья смотрел, как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся, поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них, и в этом дыму они возятся, как полоумные...

– Эй-эй! – говорил ему дядя, потряхивая горбом и неустанно звеня стаканами. – Ты чего тут? Иди-ка на двор! А то хозяин увидит – заругает!..

«Вот так – а-яй!» – мысленно произносил Илья свое любимое восклицание и, ошеломлённый шумом трактирной жизни, уходил на двор. А на дворе Савёл стучал молотом и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась весёлая песня сапожника Перфишки, сверху сыпа-

лись ругань и крики пьяных баб. Пашка, Савёлов сын, скакал верхом на палке и кричал сердитым голосом:

– Тпру, дьявол!

Его круглая, задорная рожица вся испачкана грязью и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь её бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья, заплакав, пожаловался дяде, тот только руками развёл, говоря:

– Ну что сделаешь? Потерпи!..

– Я вот пойду да так его вздую! – сквозь слёзы пообещал Илья.

– Не моги! – строго молвил дядя. – Никак этого нельзя!..

– А он что?

– То – он!.. Он тутошний... свой... А ты – чужой...

Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с «тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, ещё больше сдружился с Яковым.

Яков вёл себя степенно: он никогда ни с кем не дрался, даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой, дочерью сапожника Перфишки, чумазой тоненькой девчоночкой, – её маленькая головка, осыпанная тёмными кудрями, с утра до вечера торчала на дворе. Её мать тоже всегда сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на спине, она постоянно шила, низко согнувшись над работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь, Илья видел её лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное, как у покойника, чёрные, добрые глаза на этом неприятном лице тоже неподвижны. Она никогда ни с кем не разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь иногда – очень редко – вскрикивая хриплым, задущенным голосом:

– Маша!

Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но, когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами и скоро помрёт, – он стал бояться её.

Однажды, когда Илья проходил вблизи неё, она протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного мальчика к себе.

– Попрошу я тебя, – сказала она, – не обижай Машу!..

Ей трудно было говорить: она задыхалась отчего-то.

– Не обижай, – милый!..

И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого дня Илья вместе с Яковым стал внимательно ухаживать за дочерью сапожника, стараясь оберечь её от разных неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны взрослого человека, потому что все другие большие люди только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик Макар лягался ногами и шлёпал ребятишек по лицу мокрой тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл пролётку. Савёл сердился на всех, кто заглядывал в его кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками. Перфишка швырял чем попало во всякого, кто, останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет... Иногда били и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми. Только дедушка Еремей не дрался.

Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить, чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь дядя запретил уходить со двора. Там просторнее, тише, там все люди делают одно и то же всем понятное дело, – здесь каждый делает, что хочет, и все – бедные, все живут чужим хлебом, впроголодь.

Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику, тяжело вздыхая:

– Осень идёт, Илюха... Подвернёт она нам с тобой гайки-то!.. О, господи!..

Он задумался, уныло глядя в чашку со шами. Задумался и мальчик. Обедали они на том же столе, на котором горбун мыл посуду.

– Петруха говорит, чтобы тебя с Яшуткой в училище отдать. Надо, я понимаю... Без грамоты здесь – как без глаз!.. Да ведь одеть, обуть надо тебя для училища!.. О, господи! На тебя надежда!..

От вздохов дяди, от грустного его лица у Ильи защемило сердце, он тихо предложил:

– Давай уйдём отсюда!..

– Ку-уда-а? – протяжно и уныло спросил горбун.

– А – в лес?! – сказал Илья и вдруг воодушевился. – Дедушка, ты говорил, сколько годов в лесу жил – один! А нас – двое! Лыки бы драли!.. Лис, белок били бы... Ты бы ружьё завёл, а я – силки!.. Птицу буду ловить. Ей-богу! Ягоды там, грибы... Уйдём?..

Дядя поглядел на него ласковыми глазами и с улыбкой спросил:

– А волки? А медведи?

– С ружьём-то? – горячо воскликнул Илья. – Да я, когда большой вырасту, я зверей не побоюсь!.. Я их руками душить стану!.. Я и теперь уж никого не боюсь! Здесь – житьё тугое! Я хоть и маленький, а вижу! Здесь больше дерутся, чем в деревне! Кузнец как треснет по башке, так там аж гудит весь день после того!..

– Эх ты, сирота божия! – сказал Терентий и, бросив ложку, поспешно ушёл куда-то.

Вечером этого дня Илья, устав бродить по двору, сидел на полу около стола дяди и сквозь дрему слушал разговор Терентия с дедушкой Еремеем, который пришёл в трактир попить чайку. Тряпичник очень подружился с горбуном и всегда усаживался пить чай рядом со столом Терентия.

– Ничего-о! – слышал Илья скрипучий голос Еремея. – Ты только одно знай – бог! Ты вроде крепостного у него... Сказано – раб! Бог твою жизнь видит. Придёт светлый день твой, скажет он ангелу: «Слуга мой небесный! иди, облегчи житьё Терентию, мирному рабу моему...»

– Я, дедушка, уповаю на господя, – что больше могу я? – тихо говорил Терентий.

Голосом, похожим на голос буфетчика Петрухи, когда он сердился, – дед сказал Терентию:

– На снаряженье Илюшки в училище я тебе дам!.. Поскребусь и наберу... Взаимы. Богат будешь – отдашь...

– Дедушка! – тихо воскликнул Терентий.

– Стой, молчи! А покамест ты его, мальчишку-то, дай-ка мне, – нечего тут ему делать!.. А мне заместо процента он и послужит... Тряпку поднимет, кость подаст... Всё мне, старику, спины не гнуть...

– Ах ты!.. Господь тебе!.. – вскричал горбун звенящим голосом.

– Господь – мне, я – тебе, ты – ему, а он – опять господу, так оно у нас колесом и завертится... И никто никому не должен будет... Ми-ила-й! Э-эх, брат ты мой! Жил я, жил, глядел, глядел, – ничего, окромя бога, не вижу. Всё его, всё ему, всё от него да для него!..

Илья заснул под эти речи. А на другой день рано утром дед Еремей разбудил его, весело говоря:

– Айда гулять, Илюшка! Ну-ка, живенько!

Хорошо зажил Илья под ласковой рукой тряпичника Еремея. Каждый день, рано утром, дед будил мальчика, и они, вплоть до позднего вечера, ходили по городу, собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки железа, куски кожи. Велик город, и много любопытного в нём, так что первое время Илья плохо помогал деду, а всё только разглядывал людей, дома, удивлялся всему и обо всём расспрашивал старика... Еремей был словоохотлив. Низко наклонив голову и глядя в землю, он ходил со двора на двор и, постукивая палкой с железным концом,

утирал слёзы рукавом своих лохмотьев или концом грязного мешка и, не умолкая, певуче, одноотонно рассказывал своему помощнику:

– А этот дом Пчелина купца, Саввы Петровича. Богатый человек купец Пчелин!..

– Дедушка, – спрашивал Илья, – а как богатыми делаются?

– Трудятся для этого, работают, значит... И день работают, и ночь, и всё деньги копят. Накопят – выстроят дом, заведут лошадей, посуду разную и всякое такое, эдакое. Новое всё! Наймут приказчиков, дворников и разных людей, чтобы они работали, а сами отдыхают – живут. Ну, тогда говорится: разжился человек честным трудом... н-да!.. А то есть, которые от греха богатеют. Про Пчелина-купца говорят люди, будто он душу погубил, когда молодой был. Может, это от зависти сказано, а может, и правда. Злой он, Пчелин-то, глаз у него пугливой... Всё бегаёт глаз, прячется... Может, и врут про Пчелина... Бывает, что человек богатеет сразу... Удача ему... Удача на него взглянула... Один бог в правде живёт, а мы все ничего не знаем!.. Люди мы! А люди – семена божии... семена, душа, люди-то! Посеял нас господь на земле – растите! А я погляжу, – какой хлеб насущный будет из вас?.. Так-то! А вот это вот – Сабанеев дом, Митрия Павлыча... Он ещё Пчелина богаче. Уж он настоящий злодей, – я знаю... Не сужу – богу судить, – а знаю верно... В нашей деревне бурмистром он был и всех нас продал, всех ограбил!.. Долго ему бог терпел это, да и начал с ним считаться. Перво-наперво – оглох Митрий Павлов, потом сына у него лошади убили... А недавно вот дочь сбежала из дома...

Илья внимательно слушал его, поглядывая на огромные дома, и порой говорил:

– Хоть бы глазом одним в нутро-то взглянуть!..

– Увидишь! Знай – учись, вырастешь – всё увидишь! Может, и сам разбогатеешь... Живи, знай... Охо-хо-о! Вот я жил-жил, глядел-глядел – глаза-то себе и испортил... Вот они, слёзы-то, текут да текут у меня... и оттого стал я тощой да хилый... Истёк, значит, слезой-то!

Приятно было Илье слушать уверенные и любовные речи старика о боге, от ласковых слов в сердце мальчика рождалось бодрое, крепкое чувство надежды на что-то хорошее, что ожидает его впереди. Он повеселел и стал больше ребёнком, чем был первое время жизни в городе.

Он с увлечением помогал старику рыться в мусоре. Очень интересно раскапывать кучи разного хлама, а особенно приятно было видеть радость старика, когда в мусоре находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья нашёл большую серебряную ложку, – дед купил ему за это полфунта мятных пряников. Потом он откопал маленький, покрытый зелёной плесенью кошелёк, а в нём оказалось больше рубля денег. Порой попадались ножи, вилки, гайки, изломанные медные вещи, а в овраге, где сваливался мусор со всего города, Илья отрыл тяжёлый медный подсвечник. За каждую из таких ценных находок дед покупал Илье гостинцев.

Находя такую диковину, Илья радостно кричал:

– Дедушка, гляди-ка! Вот так – а-яй!

А дед, беспокойно оглядываясь, увещевал его:

– Да ты не кричи! Не кричи ты!.. ах, господи!..

Он всегда пугался, когда находили необыкновенные вещи, и, быстро выхватывая их из рук мальчика, прятал в свой огромный мешок.

– Молчи, знай, – помалкивай!.. – ласково говорил старик, а слёзы всё текли и текли из его красных глаз.

Он дал Илье небольшой мешок, палку с железным концом, – мальчик гордился этим орудием. В свой мешок он собирал разные коробки, поломанные игрушки, красивые черепки, ему нравилось чувствовать все эти вещи у себя за спиной, слышать, как они постукивают там. Собирать всё это научил его дед Еремей.

– А ты собирай эти штучки и тащи их домой. Принесёшь, ребяташек обделишь, радость им дашь. Это хорошо – радость людям дать, любит это господь... Все люди радости хотят,

а её на свете ма-ало-мало! Так-то ли мало, что иной человек живёт-живёт и никогда её не встретит, – никогда!..

Городские свалки нравились Илье больше, чем хождение по дворам. На свалках не было никого, кроме двух-трёх стариков, таких же, как Еремей, здесь не нужно было оглядываться по сторонам, ожидая дворника с метлой руках, который явится, обругает нехорошими словами а ещё и ударит, выгоняя со двора.

Каждый день, порывшись в свалках часа два, Еремей говорил мальчику:

– Будет, Илюша! Отдохнём давай, поедим!

Вынимал из-за пазухи ломоть хлеба, крестясь, разламывал его, и они ели, а поев, отдыхали с полчаса, лёжа на краю оврага. Овраг выходил устьем на реку, её видно было им. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага свои волны, и, глядя на неё, Илье хотелось плыть по ней. За рекою развёртывались луга, стоги сена стояли там серыми башнями, и далеко, на краю земли, в синее небо упиралась тёмная зубчатая стена леса. Было в лугах тихо, ласково, и чувствовалось, что воздух там чистый, прозрачный и сладко пахучий... А здесь душно от запаха преющего мусора; запах этот давил грудь, щипал в носу, у Ильи, как у деда, тоже слёзы из глаз текли...

Лёжа на спине, мальчик смотрел в небо, не видя конца высоте его. Грусть и дрёма овладевали им, какие-то неясные образы зарождались в его воображении. Казалось ему, что в небе, неуловимо глазу, плавает кто-то огромный, прозрачно светлый, ласково греющий, добрый и строгий и что он, мальчик, вместе с дедом и всею землёй поднимается к нему туда, в бездонную высь, в голубое сиянье, в чистоту и свет... И сердце его сладко замирало в чувстве тихой радости.

Вечером, возвращаясь домой, Илья входил на двор с важным видом человека, который хорошо поработал, желает отдохнуть и совсем не имеет времени заниматься пустяками, как все другие мальчишки и девчонки. Всем детям он внушал почтение к себе солидной осанкой и мешком за плечами, в котором всегда лежали разные интересные штуки...

Дед, улыбаясь ребятишкам, говорил им какую-нибудь шутку.

– Вот и пришли Лазари, весь город облазили, везде напраказили!.. Илька! Иди, помой рожу да приходи в трактир чай пить!..

Илья вразвалку шёл к себе в подвал, а ребятишки гурьбой следовали за ним, осторожно ощупывая содержимое его мешка. Только Пашка дерзко, загораживая дорогу Илье, говорил:

– Эй, ветошник! Ну-ка, кажи, что принёс...

– погодишь! – говорил Илья сурово. – Напьюсь чаю, покажу...

В трактире его встречал дядя, ласково улыбаясь.

– Пришёл, работник? Ах ты, сердяга!.. Устал?

Илье было приятно слышать, что его называют работником, а слышал это он не от дяди только. Однажды Пашка что-то созорничал; Савёл поймал его, ущемил в колени Пашкину голову и, нахлёстывая его верёвкой, приговаривал:

– Не озоруй, шельма, не озоруй! На вот тебе, на! на! Другие ребята в твои годы сами себе хлеб добывают, а ты только жрёшь да одежду дерёшь!..

Пашка визжал на весь двор и дрягал ногами, а верёвка всё шлёпалась об его спину. Илья со странным удовольствием слушал болезненные и злые крики своего врага, но слова кузнеца наполнили его сознанием своего превосходства над Пашкой, и тогда ему стало жаль мальчика.

– Дядя Савёл, брось! – вдруг закричал он.

Кузнец ударил сына ещё раз и, взглянув на Илью, сказал сердито:

– А ты – цыц! Заступник!.. Вот я те дам!.. – Отшвырнув сына в сторону, он ушёл в кузницу. Пашка встал на ноги и, спотыкаясь, как слепой, пошёл в тёмный угол двора. Илья отправился за ним, полный жалости к нему. В углу Пашка встал на колени, упёрся лбом в забор и,

держа руки на ягодицах, стал выть ещё громче. Илья захотелось сказать что-нибудь ласковое избитому врагу, но он только спросил Пашку:

– Больно?

– У-уйди! – крикнул тот.

Этот крик обидел Илью, он поучительно заговорил:

– Вот – ты всех колотишь, вот и...

Но раньше, чем договорил он, Пашка бросился на него и сшиб с ног. Илья тоже освирепел, и оба они комом покатались по земле. Пашка кусался и царапался, а Илья, схватив его за волосы, колотил о землю его голову до поры, пока Пашка не закричал:

– Пусти-и!

– То-то! – сказал Илья, вставая на ноги, гордый своей победой. – Видал? Я сильнее! Значит – ты меня не задирай теперь!

Он отошёл прочь, отирая рукавом рубахи в кровь расцарапанное лицо. Среди двора стоял кузнец, мрачно нахмутив брови. Илья, увидев его, вздрогнул от страха и остановился, уверенный, что сейчас кузнец изобьёт его за сына. Но тот повёл плечами и сказал:

– Ну, чего уставил буркалы на меня? Не видал раньше? Иди, куда идёшь!..

А вечером, поймав Илью за воротами, Савёл легонько щёлкнул его пальцем в темя и, сумрачно улыбнувшись, спросил:

– Как делишки, мусорщик?

Илья радостно хихикнул, – он был счастлив. Сердитый кузнец, самый сильный мужик на дворе, которого все боялись и уважали, шутит с ним! Кузнец схватил его железными пальцами за плечо и добавил ему ещё радости:

– Ого-о! – сказал он. – Да ты – крепкий мальчишка! Не скоро износишься, нет, парень!.. Ну, расти!.. Вырастешь – я тебя в кузню возьму!..

Илья охватил у колена огромную ногу кузнеца и крепко прижался к ней грудью. Должно быть, Савёл ощутил трепет маленького сердца, задыхавшегося от его ласки: он положил на голову Ильи тяжёлую руку, помолчал немножко и густо молвил:

– Э-эх, сирота!.. Ну-ка, пусти-ка!..

Сияющий и весёлый принялся Илья в этот вечер за обычное своё занятие – раздачу собранных за день диковин. Дети уселись на землю и жадными глазами глядели на грязный мешок. Илья доставал из мешка лоскутки ситца, деревянного солдатика, полинявшего от невзгод, коробку из-под ваксы, помадную банку, чайную чашку без ручки и с выбитым краем.

– Это мне, мне, мне! – раздавались завистливые крики, и маленькие, грязные ручонки тянулись со всех сторон к редкостным вещам.

– погоди! Не хватай! – командовал Илья. – Разве игра будет, коли вы всё сразу растащите? Ну, открываю лавочку! Продаю кусок ситцу... Самый лучший ситец! Цена – полтина!.. Машка, покупай!

– Купила! – отвечал Яков за сапожникову дочь и, доставая из кармана заранее приготовленный черепок, совал его в руку торговцу. Но Илья не брал.

– Ну – какая это игра? А ты торгуйся, чё-орт! Никогда ты не торгуешься!.. Разве так бывает?

– Я забыл! – оправдывался Яков.

Начинался упорный торг; продавец и покупатели увлекались им, а в это время Пашка ловко похищал из кучи то, что ему нравилось, убегал прочь и, приплясывая, дразнил их:

– А я украл! Разини вы! Дураки, черти!

Он такими выходками приводил всех в исступление: маленькие кричали и плакали, Яков и Илья бегали по двору за вором и почти никогда не могли схватить его. Потом к его выходкам привыкли, уже не ждали от него ничего хорошего, единодушно невзлюбили его и не играли с ним. Пашка жил в стороне и усердно старался делать всем что-нибудь неприятное. А больше-

головый Яков возился, как нянька, с курчавой дочерью сапожника. Она принимала его заботы о ней как должное, и хотя звала его Яшечка, но часто царапала и била. Дружба с Ильёй крепла у него, и он постоянно рассказывал товарищу какие-то странные сны.

– Будто у меня множество денег и всё рубли – огромный мешок! И вот я тащу его по лесу. Вдруг – разбойники идут. С ножами, страшные! Я – бежать! И вдруг будто в мешке-то затрепыхалось что-то... Как я его брошу! А из него птицы разные ф-р-р!.. Чижи, синицы, щеглята – видимо-невидимо! Подхватили они меня и понесли, высоко-высоко!

Он прерывал рассказ, глаза его выкатывались, лицо принимало овечье выражение...

– Ну? – поощрял его Илья, нетерпеливо ожидая конца.

– Так я совсем и улетел!.. – задумчиво доканчивал Яков.

– Куда?

– А... совсем!

– Эх ты! – разочарованно и пренебрежительно говорил Илья. – Ничего не помнишь!..

Из трактира выходил дед Еремей и, приставив ладонь ко лбу, кричал:

– Илюшка! Ты где? Иди-ка спать, пора!..

Илья послушно шёл за стариком и укладывался на своё ложе – большой куль, набитый сеном. Сладко спалось ему на этом куле, хорошо жил он с тряпичником, но быстро промелькнула эта приятная и лёгкая жизнь.

Дедушка Еремей купил Илье сапоги, большое, тяжёлое пальто, шапку, и мальчика отдал в школу. Он пошёл туда с любопытством и страхом, а воротился обиженный, унылый, со слезами на глазах: мальчики узнали в нём спутника дедушки Еремея и хором начали дразнить:

– Тряпичник! Вонючий!

Иные щипали его, другие показывали языки, а один подошёл к нему, потянул воздух носом и с гримасой отскочил, громко крикнув:

– Вот так вонько пахнет!

– Что они дразнятся? – с недоумением и обидой спрашивал он дядю. – Али это зазорно, тряпки-то собирать?

– Ничего-о! – глядя мальчика по голове, говорил Терентий, скрывая своё лицо от вопрошающих и пытливых глаз племянника. – Это они так... просто озоруют... Ты потерпи!.. Привыкнешь...

– И над сапогами смеются, и над пальтом!.. Чужое, говорят, из помойной ямы вытащено!..

Дед Еремей, весело подмигивая глазом, тоже утешал его:

– Терпи, знай! Бог зачтёт!.. Кроме его – никого!

Старик говорил о боге с такой радостью и верой в его справедливость, точно знал все мысли бога и проник во все его намерения. Слова Еремея на время гасили обиду в сердце мальчика, но на другой же день она вспыхивала ещё сильнее. Илья уже привык считать себя величиной, работником; с ним даже кузнец Савёл говорил благосклонно, а школьники смеялись над ним, дразнили его. Он не мог помириться с этим: обидные и горькие впечатления школы, с каждым днём увеличиваясь, всё глубже врезывались в его сердце. Посещение школы стало тяжёлой обязанностью. Он сразу обратил на себя внимание учителя своей понятливостью; учитель стал ставить его в пример другим, – это ещё более обостряло отношение мальчиков к нему. Сидя на первой парте, он чувствовал у себя за спиной врагов, а они, постоянно имея его перед своими глазами, тонко и ловко подмечали в нём всё, над чем можно было посмеяться, и – смеялись. Яков учился в этой же школе и тоже был на худом счету у товарищей; они прозвали его Бараном. Рассеянный, неспособный, он постоянно подвергался наказаниям, но относился к ним равнодушно. Он вообще плохо замечал то, что творилось вокруг него, живя своей особенной жизнью в школе, дома, и почти каждый день он вызывал удивление Ильи непонятными вопросами.

– Илька! Это отчего, – глаза у людей маленькие, а видят всё!.. Целый город видят. Вот – всю улицу... Как она в глаза убирается, большая такая?

Сначала Илья задумывался над этими речами, но потом они стали мешать ему, отводя мысли куда-то в сторону от событий, которые задевали его. А таких событий было много, и мальчик уже научился тонко подмечать их.

Однажды он пришёл из школы домой и, оскалив зубы, сказал Еремею:

– Учитель-то?! Гы-ы!.. Тоже понятливый!.. Вчера лавошника Малафеева сын стекло разбил в окошке, так он его только пожурил легонько, а стекло-то сегодня на свои деньги вставил...

– Видишь, какой добрый человек! – с умилением сказал Еремей.

– Добрый, да-а! А как Ванька Ключарев разбил стекло, так он его без обеда оставил да потом Ванькина отца позвал и говорит: «Поддай на стекло сорок копеек!..» А отец Ваньку выпорол!..

– А ты этого не замечай себе, Илюша! – посоветовал дед, беспокойно мигая глазами. – Ты так гляди, будто не твоё дело. Неправду разбирать – богу принадлежит, не нам! Мы не можем. А он всему меру знает!.. Я вот, видишь, жил-жил, глядел-глядел, – столько неправды видел – сосчитать невозможно! А правды не видал!.. Восьмой десяток мне пошёл однако... И не может того быть, чтобы за такое большое время не было правды около меня на земле-то... А я не видал... не знаю её!..

– Ну-у! – недоверчиво сказал Илья. – Тут чего знать-то? Коли с одного сорок, так и с другого сорок: вот и правда!..

Старик не согласился с этим. Он ещё много говорил о слепоте людей и о том, что не могут они правильно судить друг друга, а только божий суд справедлив. Илья слушал его внимательно, но всё угрюмее становилось его лицо, и глаза всё темнели...

– Когда бог судить-то будет? – вдруг спросил он деда.

– Неведомо! Ударит час, снизойдёт он со облак судити живых и мертвых... а когда? Неведомо... Ты вот что, пойдём-ка со мной ко всенощной!

В субботу Илья стоял со стариком на церковной паперти, рядом с нищими, между двух дверей. Когда отворялась наружная дверь, Илью обдавало морозным воздухом с улицы, у него зябли ноги, и он тихонько топал ими по каменному полу. Сквозь стёкла двери он видел, как огни свечей, сливаясь в красивые узоры трепетно живых точек золота, освещали металл риз, чёрные головы людей, лики икон, красивую резьбу иконостаса.

Люди в церкви казались более добрыми и смиренными, чем они были на улице. Они были и красивее в золотом блеске, освещавшем их тёмные, молчаливо и смиренно стоящие фигуры. Когда дверь из церкви растворялась, на паперть вылетала душистая, тёплая волна пения; она ласково обливала мальчика, и он с наслаждением вдыхал её. Ему было хорошо стоять около дедушки Еремея, шептавшего молитвы. Он слушал, как по храму носились красивые звуки, и с нетерпением ожидал, когда отворится дверь, они хлынут на него и опанут лицо его душистым теплом. Он знал, что на клиросе поёт Гришка Бубнов, один из самых злых насмешников в школе, и Фёдка Долганов, силач и драчун. Но теперь он не чувствовал ни обиды на них, ни злобы к ним, а только немножко завидовал. Ему самому хотелось бы петь на клиросе и смотреть оттуда на людей. Должно быть, это очень хорошо – петь, стоя у золотых царских врат выше всех. Он ушёл из церкви, чувствуя себя добрым и готовый помириться с Бубновым, Долгановым, со всеми учениками. Но в понедельник он пришёл из школы такой же, каким и прежде приходил, – угрюмый и обиженный.

Во всякой толпе есть человек, которому тяжело в ней, и не всегда для этого нужно быть лучше или хуже её. Можно возбудить в ней злое внимание к себе и не обладая выдающимся умом или смешным носом: толпа выбирает человека для забавы, руководствуясь только желанием забавляться. В данном случае выбор пал на Илью Лунёва. Наверное, это кончилось бы

плохо для Ильи, но как раз в этот момент его жизни произошли события, которые сделали школу окончательно не интересной для него, в то же время приподняли его над нею.

Началось с того, что однажды, подходя к дому вместе с Яковом, Илья увидал какую-то суету у ворот.

– Гляди! – сказал он товарищу, – опять, видно, дерутся?.. Бежим!

Они стремглав бросились вперёд и, прибежав, увидали, что по двору испуганно мечутся чужие люди, кричат:

– Полицию зовите! Связать его надо!

Около кузницы люди собрались большой, плотной кучей. Ребятишки пролезли в центр толпы и попятились назад. У ног их, на снегу, лежала вниз лицом женщина; затылок у неё был в крови и каком-то тесте, снег вокруг головы был густо красен. Около неё валялся смятый белый платок и большие кузнечные клещи. В дверях кузни, скорчившись, сидел Савёл и смотрел на руки женщины. Они были вытянуты вперёд, кисти их глубоко вцепились в снег. Брови кузнеца сурово нахмурены, лицо осунулось; видно, что он сжал зубы: скулы торчали двумя большими шишками. Правой рукой он упирался в косяк двери; чёрные пальцы его шевелились, и, кроме пальцев, всё в нём было неподвижно.

Люди смотрели на него молча; лица у всех были строгие, и, хотя на дворе было шумно и суетно, здесь, около кузницы, – тихо. Вот из толпы вылез дедушка Еремей, растрёпанный, потный; он дрожащей рукой протянул кузнецу ковш воды:

– На-ка, испей-ка...

– Не воды ему, разбойнику, а петлю на шею, – сказал кто-то вполголоса.

Савёл взял ковш левой рукою и пил долго, долго. А когда выпил всю воду, то посмотрел в пустой ковш и заговорил глухим своим голосом:

– Я её упреждал, – перестань, стерво! Говорил – убью! Прощал ей... сколько разов прощал... Не вникла... Ну и вот!.. Пашка-то... сирота теперь... Дедушка... Погляди за ним... Тебя вот бог любит...

– И-эх ты-ы! – печально сказал дед и потрогал кузнеца за плечо дрожащей рукой, а из толпы снова сказали:

– Злодей!.. про бога говорит тоже!..

Тогда кузнец вскинул брови и зверем заревел:

– Чего надо? Прочь все!

Крик его, как плетью, ударил толпу. Она глухо заворчала и отхлынула прочь. Кузнец поднялся на ноги, шагнул к мёртвой жене, но круто повернулся назад и – огромный, прямой – ушёл в кузню. Все видели, что, войдя туда, он сел на наковальню, схватил руками голову, точно она вдруг нестерпимо заболела у него, и начал качаться вперёд и назад. Илье стало жалко кузнеца; он ушёл прочь от кузницы и, как во сне, стал ходить по двору от одной кучки людей к другой, слушая говор, но ничего не понимая.

Явилась полиция и начала гонять людей по двору, а потом кузнеца забрали и повели.

– Прощай, дедушка! – крикнул Савёл, выходя из ворот.

– Прощай, Савёл Иваныч, прощай, милый! – торопливо и тонко крикнул Еремей, порываясь за ним.

Кроме его – никто не простился с кузнецом...

Стоя на дворе маленькими кучками, люди разговаривали, сумрачно поглядывая на тело убитой, кто-то прикрыл голову её мешком из-под углей. В дверях кузни, на место, где сидел Савелий, сел городской с трубкой в зубах. Он курил, сплёвывал слюну и, мутными глазами глядя на деда Еремея, слушал его речь.

– Разве он убил? – таинственно и тихо говорил старик. – Чёрная сила это, она это! Человек человека не может убить... Не он убивает, люди добрые!

Еремей прикладывал руки к своей груди, отмахивал ими что-то от себя и кашлял, объясняя людям тайну события.

– Однако клещами-то её не чёрт двинул, а кузнец, – сказал полицейский и сплюнул.

– А кто ему внушил? – вскричал дед. – Ты разгляди, кто внушил?

– погоди! – сказал полицейский. – Он кто тебе, кузнец этот? Сын?

– Нет, где там!..

– погоди! Родня он тебе?

– Не-ет. Нет у меня родни...

– Так чего же ты беспокоишься?

– Я-то? Господи...

– Я тебе вот что скажу, – строго молвил полицейский, – всё это ты от старости лопочешь... Пошёл прочь!

Полицейский выпустил из угла губ густую струю дыма и отвернулся от старика. Но Еремей взмахнул руками и вновь заговорил быстро, визгливо.

Илья, бледный, с расширенными глазами, отошёл от кузницы и остановился у группы людей, в которой стояли извозчик Макар, Перфишка, Матица и другие женщины с чердака.

– Она, милые, ещё до свадьбы погуливала! – говорила одна из женщин. – Может, Пашка-то не кузнеца сын, а – учителя, что у лавошника Малафеева жил...

– Это застрелился который? – спросил Перфишка.

– Вот! Она с ним и начала...

Безногая жена Перфишки тоже вылезла на двор и, закутавшись в какие-то лохмотья, сидела на своём месте у входа в подвал. Руки её неподвижно лежали на коленях; она, подняв голову, смотрела чёрными глазами на небо. Губы её были плотно сжаты, уголки их опустились. Илья тоже стал смотреть то в глаза женщины, то в глубину неба, и ему подумалось, что, может быть, Перфишкина жена видит бога и молча просит его о чём-то.

Вскоре все ребята тоже собрались в тесную кучку у входа в подвал. Зябко кутаясь в свои одёжки, они сидели на ступенях лестницы и, подавленные жутким любопытством, слушали рассказ Савёлова сына. Лицо у Пашки осунулось, а его лукавые глаза глядели на всех беспокойно и растерянно. Но он чувствовал себя героем: никогда ещё люди не обращали на него столько внимания, как сегодня. Рассказывая в десятый раз одно и то же, он говорил как бы нехотя, равнодушно:

– Как ушла она третьего дня, так ещё тогда отец зубами закрипел и с той поры так и был злющий, рычит. Меня то и дело за волосы дерёт... Я уж вижу – ого! И вот она пришла. А квартира-то заперта была – мы в кузне были. Я стоял у мехов. Вот вижу, она подошла, встала в двери и говорит: «Дай-ка ключ!» А отец-то взял клещи и пошёл на неё... Идёт это он тихо так, будто крадётся... Я даже глаза зажмурил – страшно! Хотел ей крикнуть: «Беги, мамка!» Не крикнул... Открыл глаза, и он всё идёт ещё! Глазищи горят! Тут она пятиться начала... А потом обернулась задом к нему, бежать хотела...

Лицо у Пашки дрогнуло, всё его худое, угловатое тело задергалось. Глубоким вздохом он глотнул много воздуха и выдохнул его протяжно, сказав:

– Тут он её клещами ка-ак брякнет!

Неподвижно сидевшие дети зашевелились.

– Она взмахнула руками и упала... как в воду мыр-нула...

Он взял в руки какую-то щепочку, внимательно осмотрел её и бросил её через головы детей. Они все сидели неподвижно, как будто ожидая от него чего-то ещё. Но он молчал, низко наклонив голову.

– Совсем убил? – спросила Маша тонким, дрожащим голосом.

– Дура! – не подняв головы, сказал Пашка.

Яков обнял девочку и подвинул её ближе к себе, а Илья подвинулся к Пашке, тихо спросив его:

– Тебе её жалко?

– А что тебе за дело? – сердито отозвался Пашка.

Все сразу и молча взглянули на него.

– Вот она всё гуляла, – раздался звонкий голос Маши, но Яков торопливо и беспокойно перебил её речь:

– Загуляешь! Вон он какой был, кузнец-то!.. Чёрный всегда, страшный, урчит!.. А она весёлая была, как Перфишка...

Пашка взглянул на него и заговорил угрюмо, солидно, как большой:

– Я ей говорил: «Смотри, мамка! Он тебя убьёт!..» Не слушала... Только просит, чтоб я ему не сказывал ничего... Гостинцы за это покупала. А фетьфебель всё пятаки мне дарил. Я ему принесу записку, а он мне сейчас пятак даст... Он – добрый!.. Силач такой... Усищи у него...

– А сабля есть? – спросила Маша.

– Ещё какая! – ответил Пашка и с гордостью прибавил: – Я её раз вынимал из ножен, – чижолая, дьявол!

Яков задумчиво сказал:

– Вот и ты теперь сирота... как Илюшка...

– Как бы не так, – недовольно отозвался сирота. – Ты думаешь, я тоже в тряпичники пойду? Наплевал я!

– Я не про то...

– Я теперь что хочу, то и делаю!.. – подняв голову и сердито сверкая глазами, говорил Пашка гордым голосом. – Я не сирота... а просто... один буду жить. Вот отец-то не хотел меня в училище отдать, а теперь его в острог посадят... А я пойду в училище да и выучусь... ещё получше вашего!

– А где одежду возьмёшь? – спросил его Илья, усмехаясь с торжеством. – В училище дражного-то не больно примут!..

– Одежду? А я – кузницу продам!

Все взглянули на Пашку с уважением, а Илья почувствовал себя побеждённым. Пашка заметил впечатление и понёсся ещё выше.

– Я ещё лошадь себе куплю... живую, всамделишную лошадь! Буду ездить в училище верхом!..

Ему так понравилась эта мысль, что он даже улыбнулся, хотя улыбка была какая-то пугливая, – мелькнув, тотчас же исчезла.

– Бить тебя уж никто теперь не будет, – вдруг сказала Маша Пашке, глядя на него с завистью.

– Найдутся охотники! – уверенно возразил Илья. Пашка взглянул на него и, ухарски сплюнув в сторону, спросил:

– Ты, что ли? Сунься-ка!

Снова вмешался Яков.

– А как чудно, братцы!.. был человек и ходил, говорил и всё... как все, – живой был, а ударили клещами по голове – его и нет!..

Ребятишки, все трое, внимательно посмотрели на Якова, а у него глаза полезли на лоб и остановились, смешно выпученные.

– Да-а! – сказал Илья. – Я тоже думаю про это...

– Говорят – умер, – тихо и таинственно продолжал Яков, – а что такое умер?

– Душа улетела, – сумрачно пояснил Пашка.

– На небо, – добавила Маша и, прижавшись к Якову, взглянула на небо. Там уже загорались звёзды; одна из них – большая, яркая и немерцающая – была ближе всех к земле и смотрела на неё холодным, неподвижным оком. За Машей подняли головы кверху и трое мальчиков. Пашка взглянул и тотчас же убежал куда-то. Илья смотрел долго, пристально, со страхом в глазах, а большие глаза Якова блуждали в синеве небес, точно он искал там чего-то.

– Яшка! – окликнул его товарищ, опуская голову.

– А?

– Я вот всё думаю... – голос Ильи оборвался.

– Про что? – тихонько спросил Яков.

– Как они... Убили человека... суетятся, бегают... говорят разное... А никто не заплакал... никто не пожалел...

– Еремей плакал...

– Он всегда уж... А Пашка-то какой? Ровно сказку рассказывал...

– Форсит... Ему – жаль, только он стыдится. А вот теперь побежал и, чай, так-то ли ревёт, – держись!

Они посидели несколько минут молча, плотно прижавшись друг к другу.

Маша уснула на коленях Якова, лицо её так и осталось обращённым к небу.

– А страшно тебе? – шёпотом спросил Яков.

– Страшно, – так же ответил Илья.

– Теперь душа её ходить будет тут...

– Да-а... Машка-то спит...

– Надо стащить её домой... А и шевелиться-то боязно...

– Идём вместе.

Яков положил голову спящей девочки на плечо себе, охватил руками её тонкое тельце и с усилием поднялся на ноги, шёпотом говоря:

– Погоди, Илья, я вперёд пойду...

Он пошёл, покачиваясь под тяжестью ноши, а Илья шёл сзади, почти упираясь носом в затылок товарища. И ему чудилось, что кто-то невидимый идёт за ним, дышит холодом в его шею и вот-вот схватит его. Он толкнул товарища в спину и чуть слышно шепнул ему:

– Иди скорее!..

Вслед за этим событием начал прихварывать дедушка Еремей. Он всё реже выходил собирать тряпки, оставался дома и скучно бродил по двору или лежал в своей тёмной конуре. Приближалась весна, и в те дни, когда на небе ласково сияло тёплое солнце, – старик сидел где-нибудь на припёке, озабоченно высчитывая что-то на пальцах и беззвучно шевеля губами. Сказки детям он стал рассказывать реже и хуже. Заговорит и вдруг закашляется. В груди у него что-то хрипело, точно просилось на волю.

– Будет тебе! – увещевала его Маша, любившая сказки больше всех.

– По...г-годи!.. – задыхаясь, говорил старик. – Сейчас... отступит...

Но кашель не отступал, а всё сильнее тряс иссохшее тело старика. Иногда ребятишки так и расходились, не дождавшись конца сказки, и, когда они уходили, дед смотрел на них особенно жалобно.

Илья заметил, что болезнь деда очень беспокоит буфетчика Петруху и дядю Терентия. Петруха по несколько раз в день появлялся на чёрном крыльце трактира и, отыскав весёлыми серыми глазами старика, спрашивал его:

– Как делишки, дедка? Полегче, что ли?

Коренастый, в розовой ситцевой рубаше, он ходил, засунув руки в карманы широких суконных штанов, заправленных в блестящие сапоги с мелким набором. В карманах у него всегда побрякивали деньги. Его круглая голова уже начинала лысеть со лба, но на ней ещё много

было кудрявых русых волос, и он молодецки встряхивал ими. Илья не любил его и раньше, но теперь это чувство возросло у мальчика. Он знал, что Петруха не любит деда Еремея, и слышал, как буфетчик однажды учил дядю Терентия:

– Ты, Терёха, надзираю за ним! Он – скаред!.. У него в подушке-то, поди, накоплено немало. Не зевай! Ему, старому кроту, веку немного осталось; ты с ним в дружбе, а у него – ни души родной!.. Сообрази, красавец!..

Вечера дедушка Еремей по-прежнему проводил в трактире около Терентия, разговаривая с горбуном о боге и делах человеческих. Горбун, живя в городе, стал ещё уродливее. Он как-то отсырел в своей работе; глаза у него стали тусклые, пугливые, тело точно растаяло в трактирной жаре. Грязная рубашка постоянно всползала на горб, обнажая поясницу. Разговаривая с кем-нибудь, Терентий всё время держал руки за спиной и опраивал рубашку быстрым движением рук, – казалось, он прячет что-то в свой горб.

Когда дед Еремей сидел на дворе, Терентий выходил на крыльцо и смотрел на него, прищуривая глаза и прислоняя ладонь ко лбу. Жёлтая бородёнка на его остром лице вздрагивала, он спрашивал виноватым голосом:

– Дедушка Ерёма! Не надо ли чего?

– Спасибо!.. Не надо... ничего не надо... – отвечал старик.

Горбун медленно повёртывался на тонких ногах и уходил.

– Не оправиться мне, – всё чаще говорил Еремей. – Видно, – время помирать!

И однажды, ложась спать в норе своей, он, после приступа кашля, забормотал:

– Рано, господи! Дела я моего не сделал!.. Деньги-то... сколько годов копил... На церковь. В деревне своей. Нужны людям божий храмы, убежище нам... Мало накопил я... Господи! Вброн летает, чует кус!.. Илюша, знай: деньги у меня... Не говори никому! Знай!..

Илья, выслушав бред старика, почувствовал себя носителем важной тайны и понял, кто вброн.

Через несколько дней, придя из школы и раздеваясь в своём углу, Илья услышал, что Еремей всхлипывает и хрипит, точно его душат:

– Кш... кшш... про-очь!..

Мальчик боязливо толкнулся в дверь к деду, – она была заперта.

За нею раздавался торопливый шёпот:

– Кшш!.. Господи... помилуй... помилуй...

Илья прислонил лицо к щели в переборке, замер, присмотрелся и увидел, что старик лежит на своей постели вверх грудью, размахивая руками.

– Дедушка! – тоскливо окрикнул мальчик.

Старик вздрогнул, приподнял голову и громко забормотал:

– Петруха, – гляди, – бо-ог! Это ему! Это – на храм... Кш... Вброн ты... Господи... тво-оё!.. Сохрани... помилуй... помилуй...

Илья дрожал от страха, но не мог уйти, глядя, как бессильно мотавшаяся в воздухе чёрная, сухая рука Еремея грозит крючковатым пальцем.

– Гляди – богово!.. Не моги!..

Потом дед весь подобрался и – вдруг сел на своём ложе. Белая борода его трепетала, как крыло летящего голубя. Он протянул руки вперёд и, сильно толкнув ими кого-то, свалился на пол.

Илья, взвизгнув, бросился вон. В ушах у него шипело, преследуя его:

«Кш... кш...»

Мальчик вбежал в трактир и, задыхаясь, крикнул:

– Помер...

Терентий охнул, затопал ногами на одном месте и стал судорожно опраивать рубаху, глядя на Петруху, стоявшего за буфетом.

– Ну что ж? – перекрестясь, строго сказал буфетчик. – Царство небесное! Хороший был старичок, между прочим... Пойду... погляжу... Илья, ты побудь здесь, – понадобится что, прибеги за мной, – слышишь? Яков, постой за буфетом...

Петруха пошёл, не торопясь, громко стучая каблуками... Мальчики слышали, как за дверями он сказал горбуну:

– Иди, иди, – дурья голова!..

Илья был сильно испуган, но испуг не мешал ему замечать всё, что творилось вокруг.

– Ты видел, как он помирал? – спросил Яков из-за стойки.

Илья посмотрел на него и ответил вопросом:

– А зачем они пошли туда?..

– Смотреть!.. Ты же их позвал!..

Илья крепко закрыл глаза, говоря:

– Как он его толкал!..

– Кого? – любопытно вытянув голову, спросил Яков.

– Чёрта! – ответил Илья не сразу.

– Ты видел чёрта? – подбегая к нему, тихо крикнул Яков. Но товарищ его снова закрыл глаза, не отвечая.

– Испугался? – дёргая его за рукав, спрашивал Яков.

– погоди! – вдруг сказал Илья. – Я... выбегу на минуту... Ты отцу не говори, – ладно?

Подгоняемый своей догадкой, он через несколько секунд был в подвале, бесшумно, как мышонок, подкрался к щели в двери и вновь прильнул к ней. Дед был ещё жив, – хрипел... тело его валялось на полу у ног двух чёрных фигур.

Во мгле они обе сливались в одну – большую, уродливую. Илья разглядел, что дядя, стоя на коленях у ложа старика, торопливо зашивает подушку. Был ясно слышен шорох нитки, продёргиваемой сквозь материю. Петруха, стоя сзади Терентия, наклонясь над ним, шептал:

– Скорее... Говорил я тебе – держи наготове иглу с ниткой... Так – нет, вздевать пришлось... Эх ты!

Шёпот Петрухи, вздохи умирающего, шорох нитки и жалобный звук воды, стекавшей в яму пред окном, – все эти звуки сливались в глухой шум, от него сознание мальчика помутилось. Он тихо откатнулся от стены и пошёл вон из подвала. Большое чёрное пятно вертелось колесом перед его глазами и шипело. Идя по лестнице, он крепко цеплялся руками за перила, с трудом поднимал ноги, а дойдя до двери, встал и тихо заплакал. Пред ним вертелся Яков, что-то говорил ему. Потом его толкнули в спину и раздался голос Перфишки:

– Кто – кого? Чем – почему? Помер? Ах, – ч-чёрт!.. – И, вновь толкнув Илью, сапожник побежал по лестнице так, что она затрещала под ударами его ног. Но внизу он громко и жалобно вскричал:

– Э-эхма-а!

Илья слышал, что по лестнице идут дядя, Петруха, ему не хотелось плакать при них, но он не мог сдержать своих слёз.

– Ах ты!.. – восклицал Перфишка. – Так вы были уж там?

Терентий прошёл мимо племянника, не взглянув на него, а Петруха, положив руку на плечо Ильи, сказал:

– Плачешь? Это хорошо... Значит, ты паренёк благодарный и содеянное тебе добро можешь понимать. Старик был тебе ба-альшим благодетелем!..

И, легонько оттолкнув Илью в сторону, добавил:

– Но, между прочим, в дверях не стой...

Илья вытер лицо рукавом рубахи и посмотрел на всех. Петруха уже стоял за буфетом, встряхивая кудрями. Пред ним стоял Перфишка и лукаво ухмылялся. Но лицо у него, несмотря на улыбку, было такое, как будто он только что проиграл в орлянку последний свой пятак.

- Ну-с, чего тебе, Перфил? – поводя бровями, строго спросил Петруха.
- Могарыча не будет? – сказал Перфишка.
- По какому такому случаю? – медленно и строго спросил буфетчик.
- Эхма! – вскричал сапожник, притопнув ногой по полу. – И рот широк, да не мне пирог!

Так тому и быть! Одно слово – желаю здравствовать вам, Пётр Якимыч!

- Что ты мелешь? – миролюбиво спросил Петруха.
- Так я, – от простоты сердца!
- Стало быть, поднести тебе стаканчик, – к этому ты клонил? Хе-хе!
- Ха, ха, ха! – раскатился по трактиру звонкий смех сапожника.

Илья качнул головой, словно вытряхивая из неё что-то, и ушёл.

Он лёг спать не у себя в каморке, а в трактире, под столом, на котором Терентий мыл посуду. Горбун уложил племянничка, а сам начал вытирать столы. На стойке горела лампа, освещая бока пузатых чайников и бутылки в шкафу. В трактире было темно, в окна стучал мелкий дождь, толкался ветер... Терентий, похожий на огромного ежа, двигал столами и вздыхал. Когда он подходил близко к лампе, от него на пол ложилась густая тень, – Илье казалось, что это ползёт душа дедушки Еремея и шипит на дядю:

«Кш... кшш!..»

Мальчику было холодно и страшно. Душила сырость, – была суббота, пол только что вымыли, от него пахло гнилью. Ему хотелось попросить, чтобы дядя скорее лёг под стол, рядом с ним, но тяжёлое, нехорошее чувство мешало ему говорить с дядей. Воображение рисовало сутулую фигуру деда Еремея с его белой бородой, в памяти звучал ласковый скрипучий голос:

«Господь меру знает... Ничего-о!..»

– Ложился бы ты! – не вытерпев, сказал Илья жалобным голосом.

Горбун вздрогнул и замер. Потом тихо, робко ответил:

– Сейчас! Сейчас!.. – и завертелся около столов быстро, как кубарь. Илья, поняв, что дяде тоже страшно, подумал:

«Так тебе и надо!..»

Дробно стучал дождь. Огонь в лампе вздрагивал, а чайники и бутылки молча ухмылялись. Илья закрылся с головой дядиным полушубком и лежал, затаив дыхание. Но вот около него что-то завозилось. Он весь похолодел, высунул голову и увидел, что Терентий стоит на коленях, наклонив голову, так что подбородок его упирался в грудь, и шепчет:

– Господи, батюшка!.. Господи!

Шёпот был похож на хрип деда Еремея. Тьма в комнате как бы двигалась, и пол качался вместе с ней, а в трубах выл ветер.

– Не молись! – звонко крикнул Илья.

– Ой, что ты это? – вполголоса сказал горбун. – Спи, Христа ради!

– Не молись! – настойчиво повторил мальчик.

– Н-ну – не буду!..

Темнота и сырость всё тяжелее давили Илью, ему трудно было дышать, а внутри kloкотал страх, жалость к деду, злое чувство к дяде. Он завозился на полу, сел и застонал.

– Что ты? Что!.. – испуганно шептал дядя, хватая его руками. Илья отталкивал его и со слезами в голосе, с тоской и ужасом говорил:

– Господи! Хоть бы спрятаться куда-нибудь... Господи!

Слёзы перехватили ему голос. Он с усилием глотнул гнилого воздуха и зарыдал, ткнув лицо в подушку.

Сильно изменился характер мальчика после этих событий. Раньше он держался в стороне только от учеников школы, не находя в себе желания уступать им, сблизиться с ними. Но дома он был общителен со всеми, внимание взрослых доставляло ему удовольствие. Теперь

он начал держаться одиноко и не по летам серьёзно. Выражение его лица стало сухим, губы плотно сжались, он зорко присматривался ко взрослым и с подстрекающим блеском в глазах вслушивался в их речи. Его тяготило воспоминание о том, что он видел в день смерти деда Еремея, ему казалось, что и он вместе с Петрухой и дядей тоже виноват пред стариком. Может быть, дед, умирая и видя, как его грабят, подумал, что это он, Илья, сказал Петрухе про деньги. Эта мысль родилась в Илье незаметно для него и наполнила душу мальчика скорбной тяжестью и всё более возбуждала подозрительное чувство к людям. Когда он замечал за ними что-нибудь нехорошее, ему становилось легче от этого, – как будто вина его пред дедом уменьшалась.

А нехорошего он видел много. Все во дворе называли буфетчика Петруху приёмщиком краденого, мошенником, но все ласкались к нему, уважительно раскланивались и называли Петром Якимычем. Бабу Матицу звали бранным словом; когда она напивалась пьяная, её толкали, били; однажды она, выпивши, села под окно кухни, а повар облил её помоями... И все постоянно пользовались её услугами, никогда ничем не вознаграждая её, кроме ругани и побоев, – Перфишка приглашал её мыть свою больную жену, Петруха заставлял бесплатно убирать трактир перед праздниками, Терентию она шила рубахи. Она ко всем шла, всё делала безропотно и хорошо, любила ухаживать за больными, любила водиться с детьми...

Илья видел, что самый работающий человек во дворе – сапожник Перфишка – живёт у всех на смеху, замечают его лишь тогда, когда он, пьяный, с гармоникой в руках, сидит в трактире или шляется по двору, наигрывая и распевая веселые, смешные песенки. Но никто не хотел видеть, как осторожно этот Перфишка вытаскивал на крыльцо свою безногую жену, как укладывал спать дочь, осыпая её поцелуями и строя, для её потехи, смешные рожи. И никто не смотрел на сапожника, когда он, смеясь и шутя, учил Машу варить обед, убирать комнату, а потом садился работать и шил до поздней ночи, согнувшись в три погибели над худым, грязным сапогом.

Когда кузнеца увели в острог, никто не позаботился о его сыне, кроме сапожника. Он тотчас же взял Пашку к себе, Пашка сучил драгву, мёл комнату, бегал за водой и в лавочку – за хлебом, квасом, луком. Все видели сапожника пьяным в праздники, но никто не слышал, как на другой день, трезвый, он разговаривал с женой:

– Ты меня, Дуня, прости! Ведь я пью не потому, что потерянный пьяница, а – с устатку. Целую неделю работаешь, – скушно! Ну, и – хватишь!..

– Да разве я виню? О, господи! Жалею я тебя!.. – хриплым голосом говорила жена, и в горле у неё что-то переливалось. – Разве, думаешь, я твоих трудов не вижу? Камнем господь положил меня на шею тебе. Умереть бы!.. Освободить бы мне тебя!..

– Не моги так говорить! Я не люблю этих твоих речей. Я тебя обижаю, не ты меня!.. Но я это не потому, что злой, а потому, что – ослаб. Вот, однажды, переедем на другую улицу, и начнётся всё другое... окна, двери... всё! Окна на улицу будут. Вырежем из бумаги сапог и на стёкла наклеим. Вывеска! И повалит к нам нар-род! За-акипит дело!.. Э-эх ты! Дуй, бей, – давай углей! Шибко живём, деньги куём!

Илья знал до мелочей жизнь Перфишки, видел, что он бьётся, как рыба об лёд, и уважал его за то, что он всегда со всеми шутил, всегда смеялся и великолепно играл на гармонии.

А Петруха сидел за буфетом, играл в шашки да с утра до вечера пил чай и ругал половых. Вскоре после смерти Еремея он стал приучать Терентия к торговле за буфетом, а сам всё только расхаживал по двору да посвистывал, разглядывая дом со всех сторон и стучая в стены кулаками.

Много замечал Илья, но всё было нехорошее, скучное и толкало его в сторону от людей. Иногда впечатления, скоплясь в нём, вызывали настойчивое желание поговорить с кем-нибудь. Но говорить с дядей не хотелось: после смерти Еремея между Ильёй и дядей выросло что-то невидимое, но плотное и мешало мальчику подходить к горбуну так свободно и близко,

как раньше. А Яков ничего не мог объяснить ему, живя тоже в стороне ото всего, но на свой особый лад.

Его опечалила смерть старого тряпичника. Он часто с жалобой в голосе и на лице вспоминал о нём.

– Скушно стало!.. Кабы жив был дедушка Ерёма – сказки бы рассказывал нам; ничего нет лучше сказок!

Однажды Яков таинственно сказал товарищу:

– Хочешь – я покажу тебе одну штуку? Только – сперва побожись, что никому не скажешь! Будь я, анафема, проклят, – скажи!..

Илья повторил клятву, и тогда Яков отвёл его в угол двора, к старой липе. Там он снял со ствола искусно прикреплённый к нему кусок коры, и под нею в дереве открылось большое отверстие. Это было дупло, расширенное ножом и красиво убранное внутри разноцветными тряпочками и бумажками, свинцом от чая, кусочками фольги. В глубине этой дыры стоял маленький, литой из меди образок, а перед ним был укреплен огарок восковой свечи.

– Видал? – спросил Яков, снова прилаживая кусок коры.

– Это зачем?

– Часовня! – объяснил Яков. – Я буду, по ночам, тихонечко уходить сюда молиться... Ладно?

Илье понравилась мысль товарища, но он тотчас же сообразил опасность затеи.

– А увидят огонь-то? Выпорет тогда отец тебя!..

– Ночью – кто увидит? Ночью все спят; на земле совсем тихо... Я – маленький: днём мою молитву богу не слышно... А ночью-то будет слышно!.. Будет?

– Не знаю!.. Может, услышит!.. – задумчиво сказал Илья, глядя на большеглазое бледное лицо товарища.

– Ты со мной будешь молиться? – спросил Яков.

– А ты о чём хочешь молиться? Я о том, чтобы умным быть... И ещё – чтобы у меня всё было, чего захочу!.. А ты?

– И я тоже...

Но подумав, Яков объяснил:

– Я просто так хотел, – безо всего... Просто бы молился, и всё тут!.. А он как хочет!.. Что даст...

Они уговорились начать молиться в эту же ночь, и оба легли спать с твёрдым намерением проснуться в полночь. Но не проснулись ни в эту, ни в следующую и так проспали много ночей. А потом у Ильи явились новые впечатления, заслонив часовню.

На той же липе, в которой Яков устроил часовню, – Пашка вешал западни на чижей и синиц. Ему жилось тяжело, он похудел, осунулся. Бегать по двору ему было некогда: он целые дни работал у Перфишки, и только по праздникам, когда сапожник был пьян, товарищи видели его. Пашка спрашивал их о том, что они учат в школе, и завистливо хмурился, слушая их рассказы, полные сознанием превосходства над ним.

– Не больно зазнавайтесь, – выучусь и я!..

– Перфишка-то не пустит!..

– А я убегу, – решительно говорил Пашка.

И действительно, вскоре сапожник говорил, посмеиваясь:

– Подмастерье-то мой! Сбежал, дьяволёнок!..

День был дождливый. Илья поглядел на растрёпанного Перфишку, на серое, угрюмое небо, и ему стало жалко товарища. Он стоял под навесом сарая, прижавшись к стене, и смотрел на дом, – казалось, что дом становится всё ниже, точно уходит в землю. Старые рёбра выпячивались всё более, как будто грязь, накопленная в его внутренностях за десятки лет, распирала дом и он уже не мог сдерживать её. Насквозь пропитанный несчастьями, всю жизнь свою

всасывая пьяные крики, пьяные, горькие песни, расшатанный, избитый ударами ног по доскам его пола, – дом не мог больше жить и медленно разваливался, печально глядя на свет божий тусклыми стёклами окон.

– Эхма! – говорил сапожник. – Скоро лопнет лукошко, рассыплются грибы. Поползём мы, жители, кто куда... Будем искать себе щёлочек по другим местам!.. Найдём и жить по-другому будем... Всё другое заведётся: и окна, и двери, и даже клопы другие будут нас кусать!.. Скорее бы! А то надоел мне этот дворец...

Но сапожник напрасно мечтал: дом не разорвало, его купил буфетчик Петруха. Купив, он дня два озабоченно шупал и ковырял эту кучу старого дерева. Потом привезли кирпичей, досок, обставили дом лесами, и месяца два он стонал и вздрагивал под ударами топоров. Его пилили, рубили, вколачивали в него гвозди, с треском и пылью выламывали его гнилые рёбра, вставляли новые и наконец, увеличив дом в ширину новой пристройкой, – обшили его тёсом. Приземистый, широкий, он теперь стоял на земле прямо, точно пустил в неё новые корни. На его фасаде Петруха повесил большую вывеску – золотом по синему полю было написано:

«Весёлое убежище друзей П. Я. Филимонова».

– А внутри он всё-таки гнилой! – сказал Перфишка.

Илья, слыша это, сочувственно улыбнулся. И ему перестроенный дом казался обманом. Он вспомнил о Пашке, который жил где-то в другом месте и видел всё иное. Илья, как и сапожник, тоже мечтал о других окнах, дверях, людях... Теперь в доме стало ещё хуже, чем раньше. Старую липу срубили, укромный уголок около неё исчез, занятый постройкой. Исчезли и другие любимые места, где, бывало, беседовали ребяташки. Только на месте кузницы, за огромной кучей щеп и гнилушек, образовался уютный угол, но там было страшно сидеть, – всё чудилось, что под этой кучей лежит Савёлова жена с разбитой головой.

Петруха отвёл дяде Терентию новое помещение – маленькую комнатку за буфетом. В неё сквозь тонкую переборку, заклеенную зелёными обоями, проникали все звуки из трактира, и запах водки, и табачный дым. В ней было чисто, сухо, но хуже, чем в подвале. Окно упиралось в серую стену сарая; стена загораживала небо, солнце, звёзды, а из окошка подвала всё это можно было видеть, встав пред ним на колени...

Дядя Терентий оделся в сиреневую рубаху, надел сверх её пиджак, который висел на нём, как на ящике, и с утра до вечера торчал за буфетом. Теперь он стал говорить с людьми на «вы», отрывисто, сухим голосом, точно лаял, и смотрел на них из-за стойки глазами собаки, охраняющей хозяйское добро. Илье он купил серую суконную курточку, сапоги, пальто и картуз, и, когда мальчик надел эти вещи, ему вспомнился старый тряпичник. Он почти не разговаривал с дядей, жизнь его тянулась однообразно, медленно. Всё чаще он вспоминал о деревне; теперь ему особенно ясно казалось, что там лучше жить: тише, понятнее, проще. Вспоминались густые леса Керженца, рассказы дяди Терентия об отшельнике Антипе, а мысль об Антипе рождала другую – о Пашке. Где он? Может быть, тоже убежал в лес, вырыл там пещеру и живёт в ней. Гудит в лесу вьюга, воют волки. Это страшно, но сладко слышать. А зимой, в хорошую погоду, там всё блестит серебром и бывает так тихо, что ничего не слышать, кроме того, как снег хрустит под ногой, и если стоять неподвижно, тогда услышишь только одно своё сердце.

В городе всегда шумно и бестолково, даже ночь полна звуков. Поют песни, кричат, стонут, ездят извозчики, от стука их пролёток и телег вздрагивают стёкла в окнах. Озорничают мальчишки в школе, большие ругаются, дерутся, пьянствуют. Люди все какие-то взбалмошные – то жулики, как Петруха, то злые, как Савёл, или никчемные вроде Перфишки, дяди Терентия, Матицы... Сапожник всех больше поражал Илью своей жизнью.

Однажды утром, когда Илья собрался в школу, Перфишка пришёл в трактир растрёпанный, не выспавшийся и молча встал у буфета, глядя на Терентия. Левый глаз у него вздрагивал и прищуривался, нижняя губа смешно отвисла. Дядя Терентий взглянул на него, улыбнулся и

налил сапожнику стаканчик за три копейки, обычную Перфишкину порцию утром. Перфишка взял стакан дрожащей рукой, опрокинул его в рот, но не крикнул, не выругался, как всегда. Он снова уставился на буфетчика странно вздрагивающим левым глазом, а правый был тускл, неподвижен и как будто не видал ничего.

– Что это у вас с глазом-то? – спросил Терентий.

Перфишка потёр глаз рукой, поглядел на палец и вдруг громко, внятно сказал:

– Супруга наша Авдотья Петровна скончалась...

Терентий, взглянув на образ, перекрестился.

– Царствие ей небесное!

– А? – спросил Перфишка, упорно разглядывая лицо Терентия.

– Говорю: царствие ей небесное!

– Да-с... Померли!.. – сказал сапожник, круто повернулся и ушёл.

– Чудак! – сокрушённо качая головой, проговорил Терентий. Илье сапожник тоже показался чудачком... Идя в школу, он на минутку зашёл в подвал посмотреть на покойницу. Там было темно и тесно. Пришли бабы сверху и, собравшись кучей в углу, где стояла постель, вполголоса разговаривали. Матица примеривала Маше какое-то платьишко и спрашивала:

– Подмышками режет?

А Маша растопырила руки и тянула капризным голосом:

– Да-а-а!..

Сапожник, согнувшись, сидел на столе, смотрел на дочь, и глаз у него всё мигал. Илья взглянул на белое, пухлое лицо усопшей, вспомнил её тёмные глаза, теперь навсегда закрывшиеся, и ушёл, унося тяжёлое, жуткое чувство.

А когда он воротился из школы и вошёл в трактир, то услышал, что Перфишка играет на гармонии и удалым голосом поёт:

Эх ты, моя милая,
Моё сердце вынула.
Зачем сердце вынула,
Д'куды его кинула?

– Их – ты!.. Выгнали меня бабы! Пошёл, кричат, вон, изверг неестественный! Морда, говорят, пьяная... Я не сержусь... я терпеливый... Ругай меня, бей! только дай мне пожить немножко!.. дай, пожалуйста! Эхма! Братья! Всем пожить хочется, – вот в чём штука! У всех душа одинакова, что у Васьки, что у Якова!..

Кто там рыдает?
Чего ожидает?
Молчи, не тужи,
Суши корочки гложи!

Рожа у Перфишки была отчаянно весёлая; Илья смотрел на него с отвращением и страхом. Ему подумалось, что бог жестоко накажет сапожника за такое поведение в день смерти жены. Но Перфишка был пьян и на другой день, за гробом жены он шёл спотыкаясь, мигал глазом и даже улыбался. Все его ругали, кто-то даже ударил по шее...

– Вот так – а-яй!.. – сказал Илья товарищу вечером после похорон. – Перфишка-то? Настоящий еретик!

– Пёс с ним! – равнодушно отозвался Яков.

Илья и раньше замечал, что с некоторого времени Яков изменился. Он почти не выходил гулять на двор, а всё сидел дома и даже как бы нарочно избегал встречи с Ильёй. Сначала

Илья подумал, что Яков, завидуя его успехам в школе, учит уроки. Но и учиться он стал хуже; учитель постоянно ругал его за рассеянность и непонимание самых простых вещей. Отношение Якова к Перфишке не удивило Илью: Яков почти не обращал внимания на жизнь в доме, но Илье захотелось узнать, что творится с товарищем, и он спросил его:

– Ты что какой стал? Не хочешь, что ли, дружить со мной?

– Я? Что ты врешь? – удивлённо воскликнул Яков и вдруг быстро заговорил: – Слушай, ты – иди домой!.. Иди, я сейчас тоже приду... Что я тебе покажу!

Он сорвался с места и убежал, а Илья, заинтересованный, пошёл в свою комнату. Яков прибежал, запер за собой дверь и, подойдя к окну, вынул из-за пазухи какую-то красную книжку.

– Иди сюда! – тихо сказал он, усевшись на постель дяди Терентия и указывая Илье место рядом с собою. Потом развернул книжку, положил её на колени, согнулся над нею и начал читать:

– «Вдали храбрый рыцарь увидел гору... высотой до небес, а в середине её железную дверь. Огнём отваги запылало... его мужественное сердце, он наклонил копьё и с громким криком помчался вперёд, приш... порив коня, и со всей своей могучей силой ударил в ворота. Тогда раздался страшный гром... железо ворот разлетелось в куски... и в то же время из горы хлынуло пламя и дым и раздался громовой голос... от которого сотряслась земля и с горы посыпались камни к ногам рыцаря коня. «Ага! ты явился... дерзкий безумец!.. Я и смерть давно ждали тебя!..» Слеплённый дымом рыцарь...»

– Кто это? – удивлённо спросил Илья, вслушиваясь в дрожащий от волнения голос товарища.

– А? – откликнулся Яков, подняв от книги бледное лицо.

– Кто это – рыцарь?

– Это такой... верхом на коне... с копьём... Рауль Бесстрашный... у него дракон невесту утащил... Прекрасная Луиза... да – ты слушай, чёрт!.. – нетерпеливо крикнул Яков.

– Валяй, валяй!.. Погоди, – а дракон кто?

– Змея с крыльями... и с ногами... когтищи у неё железные... Три головы... и все дышат огнём – понимаешь?

– Здо-орowo! – сказал Илья, широко открыв глаза. – Эдак-то он этому – за-адаст!..

Плотно прижавшись друг к другу, мальчики с трепетом любопытства и странной, согревающей душу радостью входили в новый, волшебный мир, где огромные, злые чудовища погибали под могучими ударами храбрых рыцарей, где всё было величественно, красиво и чудесно и не было ничего похожего на эту серую, скучную жизнь. Не было пьяных, маленьких людей, одетых в лохмотья, вместо полугнилых деревянных домов стояли дворцы, сверкая золотом, неприступные замки из железа возвышались до небес. Дети входили в страну чудесных вымыслов, а рядом с ними играла гармоника и разудалый сапожник Перфишка отчётливо выговаривал:

Меня после смерти —
Не утащат черти!
Я живой того добьюсь,
Как до чёртиков напьюсь!

– Наяривай! Бог весёлых любит!

Гармоника захлёбывалась звуками, торопясь догнать звонкий голос сапожника, а он впергонку с ней отчеканивал плясовой мотив:

И не пищи, что смолоду

Н-натерпелся холоду,
Сдохнешь – в ад попадѣшь,
А там – будет жарко!

Каждый куплет частушки вызывал рѣв одобрений, взрывы хохота.

А в маленькой конуре, отделѣнной от этой бури звуков тонкими досками, два мальчика согнулись над книгой, и один из них тихо шептал:

– «Тогда рыцарь стиснул чудовище в своих железных объятиях, и оно громоподобно заревело от боли и ужаса...»

После книги о рыцаре и драконе явился «Гуак, или непреоборимая верность», «История о храбром принце Францыле Венециане и прекрасной королевне Ренцивене». Впечатления действительности уступили в душе Ильи место рыцарям и дамам. Товарищи по очереди крали из выручки двугривенные, и недостатка в книгах у них не было. Они ознакомились с похождениями «Яшки Смертенского», восхищались «Япанчой, татарским наездником» и всё дальше уходили от неприглядной жизни в область, где люди всегда разрушали злые ковы судьбы, всегда достигали счастья.

Однажды Перфишку вызвали в полицию. Он ушёл встревоженный, а воротился весѣлый и привѣл с собой Пашку Грачѣва, крепко держа его за руку. Пашка был такой же остроглазый, только страшно похудел, пожелтел, и лицо у него стало менее задорным. Сапожник притащил его в трактир и там рассказывал, судорожно подмигивая глазом:

– А вот вам, люди добрые, сам Павлуха Грачѣв! Только что прибыл из города Пензы по этапу... Вот какой народ нарождается, – не сидя на печи, счастья дожидается, а как только на задние лапы встаѣт – сам искать счастья идѣт!

Пашка стоял рядом с ним, засунув одну руку в карман драных штанов, а другую всё пытался выдернуть из руки сапожника, искоса, угрюмо поглядывая на него. Кто-то посоветовал сапожнику выпороть Пашку, но Перфишка серьёзно возразил:

– Зачем? Пускай его ходит, авось, счастье найдѣт.

– А ведь он, поди-ка, голодный! – догадался Терентий и, протянув мальчику кусок хлеба, сказал ему:

– Пашка, на!

Мальчик, не торопясь, взял хлеб и пошѣл вон из трактира.

– Фи-ю-ю! – свистнул сапожник вслед ему. – До свидания, нежное создание!

Илья, наблюдавший эту сцену из двери своей комнаты, поманил Пашку к себе, но, прежде чем войти к нему, Пашка нерешительно остановился, а войдя, подозрительно оглядел комнату и сурово спросил:

– Что надо?

– Здравствуй!..

– Ну, здравствуй!..

– Садись!..

– А зачем?

– Так!.. Поговорим!..

Илью смущали сердитые вопросы Грачѣва и его сиповатый голос. Ему хотелось расспросить Пашку, где он был, что видел. Но Пашка уселся на стул и с решительным видом, кусая хлеб, сам начал спрашивать:

– Кончил учиться-то?

– Весной кончу!

– А я уж выучился!..

– Н-ну? – недоверчиво воскликнул Илья.

– У меня живо!

– А где ты учился?

– В остроге, у арестантов!..

Илья подошёл ближе к нему и, с уважением глядя на его худое лицо, спросил:

– Страшно там?

– Ничего не страшно!.. Я во многих острогах был... в разных городах... Я, брат, к господам прилип там... И барыни были тоже... настоящие! На разных языках говорят. Я им камеры убирал! Весёлые, черти, даром что арестанты!..

– Разбойники?

– Самые настоящие воры, – с гордостью выговорил Пашка.

Илья мигнул глазами и почувствовал ещё больше уважения к Пашке.

– Русские они? – спросил он.

– Некоторые жида... Первый сорт народ!.. Они, брат, ого-го какие! Грабили всех как следует!.. Ну, их поймали да – в Сибирь!

– Как же ты выучился?

– А так... Говорю: выучите меня, – они и выучили...

– И читать и писать?

– Писать плохо!.. А читать – сколько хочешь могу! Я уж много книжек читал!..

Речь о книжках оживила Илью.

– И я с Яковом читаю!

Оба они наперебой друг перед другом стали называть прочитанные книжки. Вскоре Павел со вздохом сказал:

– Да-а, вы, черти, больше прочитали! А я – всё стихи... Там много было всяких, но хорошие-то только стихи...

Пришёл Яков, удивлённо выкатил глаза и засмеялся.

– Овца! – встретил его Пашка. – Чего хохочешь?

– Ты где был?

– Тебе туда не дойти!..

– Знаешь, – сказал Илья товарищу, – и он тоже книжки читал...

– О? – воскликнул Яков и тотчас же заговорил с Пашкой более дружески. Три мальчика уселись рядом, и между ними загорелся бессвязный, быстрый, удивительно интересный разговор.

– Я такие штуки видал – рассказать нельзя! – с гордостью и воодушевлённо говорил Пашка. – Один раз не жрал двое суток... совсем ничего! В лесу ночевал... Один.

– Боязно? – спросил Яков.

– Поди, ночуй, – узнаешь! А то собаки меня загрызли было... Был в городе Казани... Там есть памятник одному, – за то, что стихи сочинял, поставили... Огромный был мужик!.. Ножищи у него во какие! А кулак с твою голову, Яшка! Я, братцы, тоже стихи сочинять буду, я уж научился немножко!..

Он вдруг съёжился, подобрал под себя ноги и, пристально глядя в одну точку, – нахмуренный, важный, – скороговоркой сказал:

По улице люди идут,
Все они одеты и сыты,
А попроси у них поесть,
Так они скажут – поди ты
Прочь!..

Он кончил, взглянул на мальчиков и тихо опустил голову. С минуту длилось неловкое молчание. Потом Илья осторожно спросил:

– Это разве стихи?

– А ты не слышишь? – сердито крикнул Пашка. – Сказано: сыты – поди ты, – значит, стихи!..

– Конечно, стихи! – торопливо воскликнул Яков. – Ты всегда придираешься, Илья!

– Я и ещё сочинил, – оживлённо обратился Пашка к Якову и тотчас же быстро выпалил:

Тучи – серы, а земля – сыра,
Вот приходит осенняя пора,
А у меня ни кола, ни двора,
И вся одежда – на дыре дыра!

– О-г-го-о! – протянул Яков, широко раскрыв глаза.

– Вот это уж – прямо стихи! – в тон ему подтвердил Илья.

Лицо Пашки вспыхнуло слабым румянцем, и глаза его так сощурились, точно в них откуда-то дым попал.

– Я и длинные стихи буду сочинять! – похвалялся он. – Это ведь не больно трудно! Идёшь и видишь – лес – леса, небо – небеса!.. А то поле – воля!.. Само собой выходит!

– А теперь что ты будешь делать? – спросил его Илья.

Пашка мигнул глазами, оглянулся вокруг, помолчал и, наконец, негромко и неуверенно сказал:

– Что-нибудь!..

Но тотчас же снова решительным голосом объявил:

– А потом – опять убегу!..

Он стал жить у сапожника, и каждый вечер ребятишки собирались к нему. В подвале было тише и лучше, чем в каморке Терентия. Перфишка редко бывал дома – он пропил всё, что можно было пропить, и теперь ходил работать подённо по чужим мастерским, а если работы не было – сидел в трактире. Он ходил полуголый, босый, и всегда подмышкой у него торчала старенькая гармония. Она как бы срослась с его телом, он вложил в неё частицу своей весёлой души, и оба стали похожи друг на друга – оборванные, угловатые, полные задорных песен и трелей. Вся мастеровщина в городе знала Перфишку как неистощимого творца разудалых и смешных «частушек», – сапожник был желанным гостем в каждой мастерской. Его любили за то, что тяжёлую, скучную жизнь рабочего люда он скрашивал песнями и складными, шутивными рассказами о разных разностях.

Когда ему удавалось заработать несколько копеек, он половину отдавал дочери – этим и ограничивались его заботы о ней. Она была полной хозяйкой своей судьбы. Она очень выросла, её чёрные кудри спустились до плеч, тёмные глаза стали серьёзнее и больше, и – тоненькая, гибкая – она хорошо играла роль хозяйки в своей норе: собирала щепы на постройках, пробовала варить какие-то похлёбки и до полудня ходила с подоткнутым подолом, вся испачканная сажей, мокрая, озабоченная. А состряпав обед, убирала комнату, мылась, одевала чистое платье и садилась за стол к окну чинить что-нибудь из одежды.

К ней часто приходила Матица, принося с собой булки, чай, сахар, а однажды она даже подарила Маше голубое платье. Маша вела себя с этой женщиной, как взрослый человек и хозяйка дома; ставила маленький жестяной самовар, и, попивая горячий, вкусный чай, они говорили о разных делах и ругали Перфишку. Матица ругалась с увлечением, Маша вторила ей тонким голосом, но – без злобы, только из вежливости. Во всём, что она говорила про отца, звучало снисхождение к нему.

– А чтоб в него печёнки зсохлись! – гудела Матица, свирепо поводя бровями. – Что ж? Забыл он, пьянчуга, что в него дитя малое зосталось? Гадка́ его морда, чтоб здох, як пёс!

– Он ведь знает, что я уж большая и всё сама могу... – говорила Маша.

– Боже мой, боже! – тяжело вздыхала Матица. – Что же это творится на свете белом? Что будет с девочкой? Вот и у меня была девочка, как ты!.. Зосталась она там, дома, у городи Хороли... И это так далеко – город Хорол, что если б меня и пустили туда, так не нашла бы я до него дороги... Вот так-то бывает с человеком!.. Живёт он, живёт на земле и забывает, где его родина...

Маше нравилось слушать густой голос этой женщины с глазами коровы. И, хотя от Матицы всегда пахло водкой, – это не мешало Маше влезать на колени бабе, крепко прижимаясь к её большой, бугром выступавшей вперёд груди, и целовать её в толстые губы красиво очерченного рта. Матица приходила по утрам, а вечером у Маши собирались ребятишки. Они играли в карты, если не было книг, но это случалось редко. Маша тоже с большим интересом слушала чтение, а в особенно страшных местах даже вскрикивала тихонько.

Яков относился к девочке ещё более заботливо, чем прежде. Он постоянно таскал ей из дома куски хлеба и мяса, чай, сахар, керосин в бутылках из-под пива, иногда давал деньги, оставшиеся от покупки книг. Он привык делать всё это, и всё выходило у него как-то незаметно, а Маша относилась к его заботам как к чему-то вполне естественному и тоже не замечала их.

– Яша! – говорила она, – углей нет!

Через некоторое время он или приносил ей угли, или давал семишник, говоря:

– Ступай, купи!.. Украсть нельзя было!

Илья тоже привык к этим отношениям, да и все на дворе как-то не замечали их. Порой Илья и сам, по поручению товарища, крал что-нибудь из кухни или буфета и тащил в подвал к сапожнику. Ему нравилась смуглая и тонкая девочка, такая же сирота, как сам он, а особенно нравилось, что она умеет жить одна и всё делает, как большая. Он любил видеть, как она смеётся, и постоянно старался смешить Машу. А когда это не удавалось ему – Илья сердился и дразнил девочку:

– Черномазая чумичка!

Она прищуривала глаза и говорила:

– Скуластый чёрт!..

Слово за слово, и они ссорились серьёзно: Маша быстро свирепела и бросалась на Илью с намерением поцарапать его, но он со смехом удовольствия убежал от неё.

Однажды, за картами, он уличил Машу в плутовстве и в ярости крикнул ей:

– Яшкина любовница!

А затем прибавил ещё одно грязное слово, значение которого было известно ему. Яков был тут же. Сначала он засмеялся, но, увидав, что лицо его подруги исказилось от обиды, а на глазах её блестят слёзы, он замолчал и побледнел. И вдруг вскочил со стула, бросился на Илью, ударил его в нос и, схватив его за волосы, повалил на пол. Всё это произошло так быстро, что Илья даже защититься не успел. А когда он, ослеплённый болью и обидой, встал с пола и, наклонив голову, быком пошёл на Якова, говоря ему: «Н-ну, держись! Я тебя...» – он увидел, что Яков жалобно плачет, облокотясь на стол, а Маша стоит около него и говорит тоже со слезами в голосе:

– Не дружись с ним. Он поганый... Он злющий! Они все злые – у него отец в каторге... а дядя горбатый!.. У него тоже горб вырастет! Пакостник ты! – смело наступая на Илью, кричала она. – Дрянь паршивая!.. тряпичная душа! Ну-ка, иди? Как я тебе рожу-то расцарапаю! Ну-ка, сунься!?

Илья не сунулся. Ему стало нехорошо при виде плачущего Якова, которого он не хотел обижать, и было стыдно драться с девочкой. А она стала бы драться, это он видел. Он ушёл из

подвала, не сказав ни слова, и долго ходил по двору, нося в себе тяжёлое, нехорошее чувство. Потом, подойдя к окну Перфишкиной квартиры, он осторожно заглянул в неё сверху вниз. Яков с подругой снова играли в карты. Маша, закрыв половину лица веером карт, должно быть, смеялась, а Яков смотрел в свои карты и нерешительно трогал рукой то одну, то другую. Илье стало грустно. Он походил по двору ещё немного и смело пошёл в подвал.

– Примите меня! – сказал он, подходя к столу. Сердце у него билось, а лицо горело и глаза были опущены. Яков и Маша молчали.

– Я не буду ругаться!.. ей-богу, не буду! – сказал Илья, взглянув на них.

– Ну, уж садись, – эх ты! – сказала Маша. А Яков строго добавил:

– Дурачина! Не маленький... Понимай, что говоришь...

– А как ты меня? – с упрёком сказал Илья Якову.

– За дело! – резонным тоном сказала ему Маша.

– Ну, ладно! Я ведь не сержусь... я виноват-то!.. – сознался Илья и смущённо улынулся Якову. – И ты не сердись – ладно?

– Ладно! Держи карты...

– Дикий чёрт! – сказала Маша, и этим всё закончилось.

Через минуту Илья, нахмутив брови, погрузился в игру. Он всегда садился так, чтобы ему можно было ходить к Маше: ему страшно нравилось, когда она проигрывала, и во всё время игры Илья упорно заботился об этом. Но девочка играла ловко, и чаще всего проигрывал Яков.

– Эх ты, лупоглазый! – с ласковым сожалением говорила Маша. – Опять дурак!

– Ну их к лешему, карты! Надоело! Давайте читать!

Они доставали растрёпанную и испачканную книжку и читали о страданиях и подвигах любви.

Когда Пашка Грачёв присмотрелся к их жизни, он сказал тоном бывалого человека:

– А вы, черти, здорово живёте!

Потом он поглядел на Якова и Машу и с усмешкой, но серьёзно добавил:

– А потом ты, Яков, возьми замуж Машку!

– Дурак!.. – смеясь, сказала Маша, и все четверо захохотали.

Когда прочитывали книжку или уставали читать, Пашка рассказывал о своих приключениях, – его рассказы были интересны не менее книг.

– Как уразумел я, братцы, что нет мне ходу без пач-порта, – начал я хитрить. Увижу будочника – иду скоро, будто кто послал меня куда, а то так держусь около какого-нибудь мужика, будто он хозяин мой, или там отец, или кто... Будочник поглядит и ничего, – не хватает... В деревнях хорошо, там будочников совсем нет: одни старики да старухи и ребятишки, а мужики в поле. Спросят: «Кто такой?» – «Нищий...» – «Чей?» – «Без роду...» – «Откуда?» – «Из города». Вот и всё! Поят, кормят хорошо. Идёшь это... идёшь, как хочешь: хоть бегом лупи, хоть на брюхе ползи... Поле везде, лес... жаворонки поют... так бы к ним и полетел! Коли сыт – ничего не хочется, всё бы и шёл до самого до края света. Как будто кто тащит тебя вперёд... как мать несёт. А то и голодал я – фью-ю! Бывало, кишки трещали – вот до чего брюхо высыхало! Хоть землю жри! В башке мутилось... Зато как добьёшься хлеба да воткнёшь в него зубы-то – ы-ых! День и ночь ел бы. Хорошо было!.. А всё-таки как в тюрьму попал – обрадовался... Сначала испугался, а уж потом радостно стало! Очень я будочников боялся. Думаю, схватят меня да как-ак начнут пороть – и заперют! А он меня легонько... подошёл сзади да за шиворот – цап! Я у магазина на часы смотрел... Множество часов – золотые и разные. Цап! Я как зареву! А он меня ласково: «Кто ты, да откуда?» Ну, я и сказал, – всё равно они узнали бы: они всё знают... Он меня в полицию... Там разные господа... «Куда идёшь?» – «Странствую...» Хохочут... Потом в тюрьму... Там тоже все хохочут. А потом господа эти меня к себе приспособили... Вот черти были! Ого-го!

О господах он говорил больше междометиями, – очевидно, они очень поразили его воображение, но их фигуры как-то расплылись в памяти и смешались в одно большое, мутное пятно. Прожив у сапожника около месяца, Пашка снова исчез куда-то. Потом Перфишка узнал, что он поступил в типографию и живёт где-то далеко в городе. Услышав об этом, Илья с завистью вздохнул и сказал Якову:

– А мы с тобой, видно, так тут и прокиснем...

Первое время после исчезновения Пашки Илье чего-то не хватало, но вскоре он снова попал в колею чудесного и чуждого жизни. Снова началось чтение книжек, и душа Ильи погрузилась в сладкое состояние полудремоты.

Пробуждение было грубо и неожиданно – однажды утром дядя разбудил его, говоря:

– Умойся почище, да скорее...

– Куда? – сонно спросил Илья.

– На место! Слава богу! Нашлось!.. В рыбной лавке будешь служить.

У Ильи сжалось сердце от неприятного предчувствия. Желание уйти из этого дома, где он всё знал и ко всему привык, вдруг исчезло, комната, которую он не любил, теперь показалась ему такой чистой, светлой. Сидя на кровати, он смотрел в пол, и ему не хотелось одеваться... Пришёл Яков, хмурый и нечёсанный, склонил голову к левому плечу и, вскользь взглянув на товарища, сказал:

– Иди скорее, отец ждёт... Ты приходишь сюда будешь?

– Буду...

– То-то... К Маньке зайди проститься.

– Чай, я не навсегда ухожу, – сердито молвил Илья.

Манька сама пришла. Она встала у дверей и, поглядев на Илью, грустно сказала:

– Вот тебе и прощай!

Илья с сердцем рванул курточку, которую надевал, и выругался. Манька и Яков, оба враз, глубоко вздохнули.

– Так приходи же! – сказал Яков.

– Да ла-адно! – сурово ответил Илья.

– Ишь зафорсил, приказчик!.. – заметила Маша.

– Эх ты – ду-ура! – тихо и с укором ответил Илья. Через несколько минут он шёл по улице с Петрухой, парадно одетым в длинный сюртук и скрипучие сапоги, и буфетчик внушительно говорил ему:

– Веду я тебя служить человеку почтенному, всему городу известному, Кириллу Иванычу Строганому... Он за доброту свою и благодеяния медали получал – не токмо что! Состоит он гласным в думе, а может, будет избран даже в градские головы. Служи ему верой и правдой, а он тебя, между прочим, в люди произведёт... Ты парнишка сурьезный, не баловник... А для него оказать человеку благодеяние – всё равно что – плюнуть...

Илья слушал и пытался представить себе купца Строганого. Ему почему-то стало казаться, что купец этот должен быть похож на дедушку Еремея, – такой же тощий, добрый и приятный. Но когда он пришёл в лавку, там за конторкой стоял высокий мужик с огромным животом. На голове у него не было ни волоса, но лицо от глаз до шеи заросло густой рыжей бородой. Брови тоже были густые и рыжие, под ними сердито бегали маленькие, зеленоватые глазки.

– Кланяйся! – шепнул Петруха Илье, указывая глазами на рыжего мужика. Илья разочарованно опустил голову.

– Как зовут? – загудел в лавке густой бас. – Ну, Илья, гляди у меня в оба, а зри – в три! Теперь у тебя, кроме хозяина, никого нет! Ни родных, ни знакомых – понял? Я тебе мать и отец, – а больше от меня никаких речей не будет...

Илья исподлобья осматривал лавку. В корзинах со льдом лежали огромные сомы и осетры, на полках были сложены сушёные судаки, сазаны, и всюду блестели жестяные коробки. Густой запах тузлука стоял в воздухе, в лавке было душно, тесно. На полу в больших чанах плавала живая рыба – стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука дерзко металась в воде, толкала других рыб и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на пол. Илье стало жалко её.

Один из приказчиков – маленький, толстый, с круглыми глазами и крючковатым носом, очень похожий на филина, – заставил Илью выбирать из чана уснувшую рыбу. Мальчик засучил рукава и начал хватать рыб как попало.

– За башки бери, дубина! – вполголоса сказал приказчик.

Иногда Илья по ошибке хватал живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскользнула из его пальцев и, судорожно извиваясь, тыкалась головой в стены чана.

Илья уколол себе палец костью плавника и, сунув его в рот, стал сосать.

– Вынь палец! – басом крикнул хозяин.

Потом мальчику дали тяжёлый топор, велели ему слезть в подвал и разбивать там лёд так, чтоб он улёгся ровно. Осколки льда прыгали ему в лицо, попадали за ворот, в подвале было холодно и темно, топор при неосторожном размахе задевал за потолок. Через несколько минут Илья, весь мокрый, вылез из подвала и заявил хозяину:

– Я разбил там какую-то банку...

Хозяин внимательно поглядел на него и молвил:

– На первый раз прощаю. За то прощаю, что – сам сказал... За второй раз – нарву уши...

И завертелся Илья незаметно и однообразно, как винтик в большой, шумной машине. Он вставал в пять часов утра, чистил обувь хозяина, его семьи и приказчиков, потом шёл в лавку, мёл её, мыл столы и весы. Являлись покупатели, – он подавал товар, выносил покупки, потом шёл домой за обедом. После обеда делать было нечего, и, если его не посылали куда-нибудь, он стоял у дверей лавки, смотрел на суету базара и думал о том, как много на свете людей и как много едят они рыбы, мяса, овощей. Однажды он спросил приказчика, похожего на филина:

– Михаил Игнатьич!

– Ну-с?

– А что будут люди есть, когда выловят всю рыбу и зарежут весь скот?

– Дурак! – ответил ему приказчик.

Другой раз он взял газету с прилавка и, стоя у двери, стал читать её. Но приказчик вырвал газету из его рук, щёлкнул его пальцем по носу и угрожающе спросил:

– Кто тебе позволил, а? Осёл...

Этот приказчик не нравился Илье. Говоря с хозяином, он почти ко всякому слову прибавлял почтительный свистящий звук, а за глаза называл купца Строганого мошенником и рыжим чёртом. По субботам и перед праздниками хозяин уезжал из лавки ко всеобщей, а к приказчику приходила его жена или сестра, и он отправлял с ними домой кулёк рыбы, икры, консервов. Любил он издеваться над нищими, среди которых было много стариков, напоминавших Илье о дедушке Еремее. Когда к дверям лавки подходил какой-нибудь старик и, кланяясь, тихо просил милостыню, приказчик брал за голову маленькую рыбку и совал её в руку нищего хвостом – так, чтоб кости плавников вонзились в мякоть ладони просящего. И, когда нищий, вздрагивая от боли, отдёргивал руку, приказчик насмешливо и сердито кричал:

– Не хочешь? Мало? Пшёл прочь...

Однажды старуха-нищая взяла тихонько сушёного судака и спрятала его в своих лохмотьях; приказчик видел это; он схватил старуху за ворот, отнял украденную рыбу, а потом нагнул голову старухи и правой рукой, снизу вверх, ударил её по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонив голову, молча пошла прочь, и Илья видел, как из её разбитого носа в два ручья текла тёмная кровь.

– Получила? – крикнул приказчик вслед ей.

И, обращаясь к другому приказчику, Карпу, сказал:

– Ненавижу я нищих!.. Дармоеды! Ходят, просят и – сыты! И хорошо живут... Братия Христова, говорят про них. А я кто Христу? Чужой? Я всю жизнь верчусь, как червь на солнце, а нет мне ни покоя, ни уважения...

Другой приказчик, Карп, был человек богомольный, разговаривал только о храмах, певчих, архиерейской службе и каждую субботу беспокоился, что опоздает ко всенощной. Ещё его интересовали фокусы, и каждый раз, когда в городе появлялся какой-нибудь «маг и чародей», Карп непременно шёл посмотреть на него... Был он высок, худ и очень ловок; когда в лавке скопилось много покупателей, он извивался среди них, как змея, всем улыбаясь, со всеми разговаривая, и всё поглядывал на большую фигуру хозяина, точно хвастаясь пред ним своим умением делать дело. К Илье относился пренебрежительно и насмешливо, и мальчик тоже не взлюбил его. Но хозяин нравился Илье. С утра до вечера купец стоял за конторкой, открывал ящик и швырял в него деньги. Илье видел, что он делал это равнодушно, без жадности, и мальчику почему-то было приятно это. Приятно было и то, что хозяин разговаривал с ним чаще и ласковее, чем с приказчиками. В тихое время, когда покупателей не было, купец иногда обращался к Илье, понуро стоявшему у двери:

– Эй, Илье, дремлешь?

– Нет...

– А чего ты сурьёзный всегда?

– Не знаю...

– Скушно, что ли?

– Да-а...

– Ну, поскучай! И я скучал, было время... С девяти до тридцати двух лет скучал по чужим людям... А теперь – двадцать третий год гляжу, как другие скучают...

И он покачивал головой, как бы договаривая:

«Ничего не поделаешь больше-то!»

После двух-трёх таких разговоров Илью стал занимать вопрос: зачем этот богатый, почётный человек торчит целый день в грязной лавке и дышит кислым, едким запахом солёной рыбы, когда у него есть такой большой, чистый дом? Это был странный дом: в нём всё было строго и тихо, всё совершалось в незыблемом порядке. И было в нём тесно, хотя в обоих этажах, кроме хозяина, хозяйки и трёх дочерей, жили только кухарка, горничная и дворник, он же – кучер. Все в доме говорили неполным голосом, а проходя по огромному, чистому двору, жались к сторонке, точно боясь выйти на открытое пространство. Сравнивая этот спокойный, солидный дом с домом Петрухи, Илье неожиданно пришёл к мысли, что в доме Петрухи лучше жить, хотя там и бедно, шумно, грязно. Мальчику страшно захотелось спросить купца: зачем он беспокоит себя, живя весь день на базаре, в шуме и суете, а не дома, где тихо и смиренно?

Однажды, когда Карп ушёл куда-то, а Михаил отбирал в подвале попорченную рыбу для богадельни, хозяин заговорил с Ильёй, и мальчик сказал ему:

– Вам бы, Кирилл Иванович, бросить торговлю-то... Вы уже ведь богатый... Дома у вас хорошо, а здесь вонь... и скука!..

Стrogаный, облокотясь о конторку, зорко смотрел на него, рыжие брови у купца вздрагивали.

– Ну? – спросил он, когда Илье замолчал. – Всё сказал?

– Всё... – смущённо, с испугом в сердце, отозвался Илье.

– Подь-ка сюда!

Илье подошёл. Тогда купец взял его за подбородок, поднял его голову кверху и, прищуренными глазами глядя в лицо ему, спросил:

– Это тебя научили, или ты сам выдумал?

– Ей-богу, сам.

– Н-да... Коли сам, так – ладно! Ну, скажу я тебе вот что: больше ты со мной, хозяином твоим – понимаешь? – хозяином! – говорить так не смей! Запомни! Пошёл на своё место...

А когда пришёл Карп, хозяин вдруг, ни с того ни с сего, заговорил, обращаясь к приказчику, но искоса и заметно для Ильи поглядывая на него:

– Человек всю жизнь должен какое-нибудь дело делать – всю жизнь!.. Дурак тот, кто этого не понимает. Как можно зря жить, ничего не делая? Никакого смысла нет в человеке, который к делу своему не привержен...

– Совершенно справедливо, Кирилл Иванович! – отозвался приказчик и внимательно повёл глазами по лавке, отыскивая дело для себя. Илья взглянул на хозяина и задумался. Всё скучнее жилось ему среди этих людей. Дни тянулись один за другим, как длинные, серые нити, разматываясь с какого-то невидимого клубка, и мальчику стало казаться, что конца не будет этим дням, всю жизнь он простоит у дверей, слушая базарный шум. Но его мысль, возбуждённая ранее пережитыми впечатлениями и прочитанными книжками, не поддавалась умиротворяющему влиянию однообразия этой жизни и тихо, но неустанно работала. Порой ему – молчаливому и серьёзному – становилось так скучно смотреть на людей, что хотелось закрыть глаза и уйти куда-нибудь далеко – дальше, чем Пашка Грачёв ходил, – уйти и уж не возвращаться в эту серую скуку и непонятную людскую суету.

В праздники его посылали в церковь. Он возвращался оттуда всегда с таким чувством, как будто сердце его омыли душистою, тёплой влагой. К дяде за полгода службы его отпускали два раза. Там всё шло по-прежнему. Горбун худел, а Петруха посвистывал всё громче, и лицо у него из розового становилось красным. Яков жаловался, что отец притесняет его.

– Всё журит: «Дело, говорит, делай... Я, говорит, книжника не хочу...» Но ежели мне противно за стойкой торчать? Шум, гам, вой, самого себя не слышно!.. Я говорю: «Отдай меня в приказчики, в лавку, где иконами торгуют... Покупателя там бывает мало, а иконы я люблю...»

Глаза у Якова грустно мигали, кожа на лбу отчего-то пожелтела и светилась, как лысина на голове его отца.

– Книжки-то читаете? – спросил Илья.

– А как же? Только и радости... Пока читаешь, словно в другом городе живёшь... а кончишь – как с колокольни упал...

Илья посмотрел на него и сказал:

– Какой ты старый стал... А Машутка где?

– В богадельню пошла за милостыней. Теперь я ей не много помогаю: отец-то следит... А Перфишка всё хворает... Манька-то начала в богадельню ходить, – шей там дают ей и всего... Матица помогает ещё... Сильно бьётся Маша...

– Тоже и у вас скушно, – задумчиво сказал Илья.

– А тебе очень скушно?

– Смерть!.. У вас хоть книжки... а у нас во всём доме один «Новейший фокусник и чародей» у приказчика в сундуке лежит, да и того я не добьюсь почитать... не даёт, жулик! Плохо зажили мы, Яков...

– Плохо, брат...

Они поговорили ещё немного и простились, оба грустные.

Прошло ещё несколько недель, и вдруг судьба сурово, но всё же милостиво улыбнулась Илье. Однажды утром, во время оживлённой торговли, хозяин, стоя за конторкой, вдруг быстро начал перебирать всё на ней. Лоб его покраснел, густо налившись кровью, и на шее туго вздулись жилы.

– Илья! – крикнул он. – Погляди-ка на полу, – не лежит ли где десятирублевка...

Илья взглянул на купца, потом быстрым взглядом окинул пол и спокойно сказал:

– Нет...

– Я те говорю – погляди как следует!.. – рявкнул хозяин густым басом.

– Да я глядел...

– Хорошо же, упрямая шельма! – пригрозил ему хозяин.

А когда покупатели ушли, он позвал Илью, схватил крепкими и толстыми пальцами его ухо и начал рвать из стороны в сторону, приговаривая рычащим голосом:

– Велят глядеть – гляди, велят глядеть – гляди...

Илья упёрся обеими руками в брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвал ухо из его пальцев и злым голосом, с дрожью обиды во всём теле, громко закричал:

– Что вы дерётесь? Деньги Михаил Игнатъич утащил... Они у него в левом кармане, в жилетке...

Совиное лицо приказчика изумлённо вытянулось, дрогнуло, и вдруг, размахнувшись правой рукой, он ударил Илью по голове. Мальчик упал со стоном и, заливаясь слезами, пополз по полу в угол лавки. Как сквозь сон, он слышал звериный рёв хозяина:

– Стой! Куда? Подай деньги...

– Он врёт-с... – раздавался тонкий голос приказчика.

– Гирей кину в башку!

– Кирилл Иваныч... Мои это-с... Р-разрази меня...

– Молчать!..

И стало тихо. Хозяин ушёл в свою комнату, оттуда донеслось громкое щёлканье косточек на счётах. Илья, держась за голову руками, сидел на полу и с ненавистью смотрел на приказчика, а он стоял в другом углу лавки и тоже смотрел на мальчика нехорошими глазами.

– Что, сволочь, здорово я тебя двинул? – тихо спросил он, оскалив зубы.

Илья дёрнул плечами и промолчал.

– А сейчас я тебе ещё дам, памятку!

Он, не торопясь, пошёл на мальчика, уставив в лицо его свои круглые, злые глаза. Но Илья встал на ноги, твёрдым движением взял с прилавка длинный и тонкий нож и сказал:

– Иди!

Тогда приказчик остановился, неподвижными глазами измеряя коренастую, крепкую фигурку с ножом в руке, остановился и презрительно протянул:

– А, ка-аторжное отродье...

– Ну, иди, иди! – повторил мальчик, шагнув навстречу ему. Пред глазами его всё вздрагивало и кружилось, а в груди он ощущал большую силу, смело толкавшую его вперёд.

– Брось нож! – раздался голос хозяина.

Илья вздрогнул, взглянул на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся с места.

– Положи, говорю, нож! – тише сказал хозяин. Илья положил нож на прилавок, громко всхлипнул и снова сел на пол. Голова у него кружилась, болела, ухо саднило, он задыхался от тяжести в груди. Она затрудняла биение сердца, медленно поднималась к горлу и мешала говорить. Голос хозяина донёсся до него откуда-то издали:

– Получи расчёт, Мишка...

– Позвольте-с...

– Вон! А то полицию позову...

– Хорошо-с! Я – уйду... Но и за этим мальчиком вы поглядывайте... Он с ножичком... хе-хе!

– Вон!

Снова в лавке стало тихо. Илья вздрогнул от неприятного ощущения: ему показалось, что по лицу его что-то ползёт. Он провёл рукой по щеке, отёр слёзы и увидел, что из-за конторки

на него смотрит хозяин царапающим взглядом. Тогда он встал и пошёл нетвёрдым шагом к двери, на своё место.

– Стой, погоди! – сказал хозяин. – Мог ты ударить его ножом?

– Ударил бы! – тихо, но твёрдо ответил мальчик.

– Та-ак... У тебя отец за что в каторгу ушёл – убил?

– Поджёг...

– И то хорошо...

Пришел Карп, смиренно сел у двери на табуретку и стал смотреть на улицу.

– Карпушка! – с усмешкой глядя на него, сказал хозяин. – Михаила-то я прогнал...

– Воля ваша, Кирилл Иванович!

– Воровать стал, а?

– А-я-яй! – тихонько и с испугом воскликнул Карп. – Да неужто? А-а?

Рыжая борода хозяина вздрогнула от усмешки, и он расхохотался, покачиваясь за конторкой.

– Ах, Карпушка... фокусник ты у меня...

Потом он вдруг перестал смеяться, глубоко вздохнул и задумчиво, сурово сказал:

– Эх, люди, люди! Все-то вы жить хотите, всем жрать надо! Н-ну, Илья, скажи-ка мне, – замечал ты раньше, что Михайло ворует?

– Замечал...

– А что же ты мне не сказал про это? Боялся его, что ли?

– Нет, не боялся...

– Значит, – теперь ты мне со зла сказал...

– Да, – твёрдо ответил Илья.

– Ишь ты, – какой! – воскликнул хозяин. Потом он долго гладил свою рыжую бороду, не говоря ни слова и серьёзно разглядывая Илью.

– Ну, а сам ты, Илья, воровал?

– Нет...

– Верю... Ты – не воровал... Ну, а Карп, – вот этот самый Карп, – он как – ворует?

– Ворует! – повторил мальчик.

Карп с удивлением посмотрел на него, мигнул глазами и спокойно отвернулся в сторону. Хозяин угрюмо сдвинул брови и снова начал гладить бороду. Илья чувствовал, что происходит что-то странное, и напряжённо ждал конца. В пахучем воздухе лавки жужжали мухи, был слышен тихий плеск воды в чане с живой рыбой.

– Карпушка! – окрикнул купец приказчика, неподвижно и со вниманием смотревшего на улицу.

– Чего изволите? – откликнулся Карп, быстро подходя к хозяину и глядя в лицо ему своими вежливо-ласковыми глазами.

– Слышал ты, что про тебя сказано? – с усмешкой спросил Строганий.

– Слышал...

– Ну и что же?

– Ничего!.. – пожав плечами, сказал Карп.

– Это как же – ничего?

– Очень просто, Кирилл Иванович. Я, Кирилл Иванович, имею свое достоинство, будучи человеком, уважающим себя, и потому на мальчика мне не подобает обижаться. Как сами изволите видеть, мальчик откровенно глуп, не имеет никаких понятий...

– Ты мне зубов не заговаривай! ты скажи – правду он говорил?

– Что такое правда, Кирилл Иванович? – воскликнул Карп, снова пожимая плечами, и склонил голову набок. – Конечно, ежели вам угодно – то вы его слова примете за правду... Воля ваша!..

Карп вздохнул и обиженно развёл руками.

– Н-да, на всё здесь воля моя... – согласился хозяин. – Так, по-твоему, мальчонка-то глуп?

– Совершенно глуп, – с глубокой уверенностью сказал Карп.

– Ну, это ты, пожалуй, врешь... – неопределённо сказал Строганий и вдруг захохотал.

– Нет, как это он ляпнул прямо в зенки тебе – хо-хо! «Ворует Карп?» – «Ворует!» Хо-хо-хо!

Когда хозяин засмеялся, Илья почувствовал, что в сердце его вспыхнула мстительная радость, он с торжеством взглянул на Карпа и с благодарностью – на хозяина. Карп прислушался к хозяйскому смеху и тоже выпустил из горла осторожный смешок:

– Хе-хе-хе!..

Но Строганий, услышав эти жиденькие звуки, сурово скомандовал:

– Запирай лавку!..

Когда Илья шёл домой, Карп, потрясая головою, говорил ему:

– Дурак ты, дурак! Ну, сообрази, зачем затеял ты канитель эту? Разве так пред хозяевами выслуживаются на первое место? Дубина! Ты думаешь, он не знал, что мы с Мишкой воровали? Да он сам с того жизнь начинал... Что он Мишку прогнал – за это я обязан, по моей совести, сказать тебе спасибо! А что ты про меня сказал – это тебе не простится никогда! Это называется – глупая дерзость! При мне, про меня – эдакое слово сказать! Я тебе его припомню!.. Оно указывает, что ты меня не уважаешь...

Илья слушал эту речь, но плохо понимал её. По его разумению, Карп должен был сердиться на него не так: он был уверен, что приказчик дорогой поколотит его, и даже боялся идти домой... Но вместо злости в словах Карпа звучала только насмешка, и угрозы его не пугали Илью. Вечером хозяин позвал Илью к себе, наверх.

– Ага! Ну-ка, поди-ка! – проводил его Карп зловещим восклицанием.

Войдя наверх, Илья остановился у двери большой комнаты, среди неё, под тяжёлой лампой, опускавшейся с потолка, стоял круглый стол с огромным самоваром на нём. Вокруг стола сидел хозяин с женой и дочерьми, – все три девочки были на голову ниже одна другой, волосы у всех рыжие, и белая кожа на их длинных лицах была густо усеяна веснушками. Когда Илья вошёл, они плотно придвинулись одна к другой и со страхом уставились на него тремя парами голубых глаз.

– Вот он! – сказал хозяин.

– Скажите, пожалуйста, какой! – опасно воскликнула хозяйка и так посмотрела на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганий усмехнулся, погладил бороду, постучал пальцами по столу и внушительно заговорил:

– Позвал я тебя, Илья, затем, чтобы сказать тебе – ты мне больше не нужен, стало быть, собирай свою хурду-мурду и уходи...

Илья вздрогнул, удивлённо раскрыл рот и, повернувшись, пошёл вон из комнаты.

– Стой! – сказал купец, протянув к нему руку, и, стукнув по столу ладонью, повторил тоном ниже: – Стой!

Затем он поднял палец кверху и солидно, медленно заговорил:

– Позвал я тебя не за одним этим... Нет!.. Поучить тебя надо... Надо объяснить тебе, – почему ты стал мне вреден? Худа ты мне не сделал, – паренёк грамотный, не ленивый... честный и здоровый... Всё это – козыри. Но и с козырями ты мне не нужен... Не ко двору... Почему, – вопрос?..

Илья удивился: его хвалят и – гонят вон. Это не объединялось в его голове, вызывало в нём двойственное чувство удовольствия и обиды. Ему казалось, что хозяин сам не понимает того, что он делает... Мальчик шагнул вперёд и почтительно спросил:

– Вы меня за то прогоняете, что я – с ножом давеча?..

– А, батюшки! – испуганно воскликнула хозяйка. – Какой дерзкий! Ах, господи!..

– Вот! – сказал хозяин с удовольствием, улыбаясь Илье и тыкая пальцем по направлению к нему. – Ты – дерзок! Именно так! Ты – дерзок... Служащий мальчик должен быть смирен, – смиренномудр, как сказано в писании... Он живёт на всём хозяйском... У него пища хозяйская, и ум хозяйский, и честность тоже... А у тебя – своё... Ты, например, в глаза человеку лепишь – вор! Это нехорошо, это дерзко... Ты – ежели честный – мне скажи об этом – тихонько скажи... Я уж сам определю всё, я – хозяин!.. А ты вслух – вор!.. Нет, ты погоди... Коли из троих один честен – это для меня ничего не значит... Тут особый счёт надобен... Если же один честен, а девять подлецы, никто не выигрывает... Но человек пропадает. А ежели семеро честных на трёх подлецов – твоя взяла... Понял? Которых больше, те и правы... Вот как о честности рассуждать надо...

Строганий отёр ладонью пот со лба и продолжал:

– Опять же – хватаешь ты ножик...

– О господи Иусе! – с ужасом воскликнула хозяйка, а девочки ещё плотнее прислонились одна к другой.

– Сказано – взявши нож, от него и погибнешь... Вот почему ты мне лишний... Так-то... На вот тебе полтинку, и – иди... Уходи... Помни – ты мне ничего худого, я тебе – тоже... Даже – вот, на! Дарю полтинник... И разговор вёл я с тобой, мальчишкой, серьёзный, как надо быть и... всё такое... Может, мне даже жалко тебя... но неподходящий ты! Коли чека не по оси – её надо бросить... Ну, иди...

Речь хозяина Ильи понял просто – купец прогонял его потому, что не мог прогнать Карпа, боясь остаться без приказчика. От этого Илье стало легко и радостно. И хозяин показался ему простым, милым.

– Прощайте! – сказал Ильи, крепко сжав в руке серебряную монету. – Покорно благодарю!

– Не на чем! – ответил Строганий, кивнув ему головой.

– А-я-яй! Ни слезинки не выронил!.. – донёсся вслед Илье укоризненный возглас хозяйки.

Когда Ильи, с узлом на спине, вышел из крепких ворот купеческого дома, ему показалось, что он идёт из серой, пустой страны, о которой он читал в одной книжке, – там не было ни людей, ни деревьев, только одни камни, а среди камней жил добрый волшебник, ласково указывавший дорогу всем, кто попадал в эту страну.

Был вечер ясного дня весны. Заходило солнце, на стёклах окон пылал красный огонь. Это напомнило мальчику день, когда он впервые увидел город с берега реки. Тяжесть узла с пожитками давила ему спину, – он замедлил шаги. По тротуару шли люди, задевая его ношу, с грохотом ехали экипажи; в косых лучах солнца носилась пыль, было шумно, суетливо, весело. В памяти мальчика вставало всё то, что он пережил в городе за эти годы. Он чувствовал себя взрослым человеком, сердце его билось гордо и смело, и в ушах его звучали слова купца:

«Ты мальчик грамотный, неглупый, здоровый, не ленивый... Это твои козыри...»

Ильи снова ускорил шаги, чувствуя в себе крепкую радость и улыбаясь при мысли, что завтра не надо идти в рыбную лавку...

Возвратясь в дом Петрухи Филимонова, Ильи с гордостью убедился, что он действительно очень вырос за время службы в рыбной лавке. Все в доме относились к нему со вниманием и лестным любопытством. Перфишка подал ему руку.

– Приказчику – почтение! Что, брат, отслужил? Слышал я о твоих подвигах – ха-ха! Они, брат, любят, когда язык им пятки лижет, а не когда правду режет...

Маша, увидав его, радостно вскричала:

– О-го-о! Какой ты стал!

Яков тоже обрадовался.

– Ну вот, и опять вместе будем жить... А у меня книжка есть «Альбигойцы», – ну история, я тебе скажу! Есть там один – Симон Монфор... вот так чудище!

И Яков торопливо, сбивчиво начал рассказывать содержание книжки. А Илья, глядя на него, с удовольствием подумал, что его большеголовый товарищ остался таким же, каков был. В поведении Ильи у Строганого Яков не увидел ничего особенного. Он просто сказал ему:

– Так и надо было...

Петруха был удивлён поведением Ильи и не скрыл этого, одобрительно сказав:

– Ловко ты их поддел, ловко, брат! Ну, а Кирилл Ивановичу, конечно, нельзя менять Карпа на тебя. Карп дело знает, цена ему высокая. Ты по правде хочешь, в открытую пошёл... Потому он тебя и перевесил...

Но на другой день дядя Терентий тихонько сказал племяннику:

– Ты с Петрухой-то не тово... не очень разговаривай... Осторожненько... Он тебя ругает... Ишь, говорит, какой правдолюб!

Илья засмеялся.

– А вчера он меня хвалил!

Отношение Петрухи не умерило в Илье повышенной самооценки. Он чувствовал себя героем, он понимал, что вёл себя у купца лучше, чем вёл бы себя другой в таких обстоятельствах.

Месяца через два, после тщетных поисков нового места, у Ильи с дядей завязался такой разговор:

– Да-а!.. – уныло тянул горбун. – Нету местов для тебя... Везде говорят – велик... Как же будем жить, милачок?

А Илья солидно и убедительно говорил:

– Мне пятнадцать лет, я грамотный. А ежели я дерзкий, так меня и с другого места прогонят... всё равно!

– Что же делать будем? – опасливо спрашивал Терентий, сидя на своей постели и крепко упираясь в неё руками.

– Вот что: закажи ты мне ящик и купи товару. Мылов, духов, иголок, книжек – всякой всячины!.. И буду я ходить, торговать!

– Что-то я не понимаю этого, Илюша, – у меня трактир в голове, – шумит!.. Тук, тук, тук... Мне слабо думать стало... И в глазах и в душе всё одно... Всё – это самое...

В глазах горбуна действительно застыло напряжённое выражение, точно он всегда что-то считал и не мог сосчитать.

– Да ты попробуй! Ты пусти меня... – упрашивал его Илья, увлечённый своею мыслью, сулившей ему свободу.

– Ну, господь с тобой! Попробуем!..

– Увидишь, что будет! – радостно вскричал Илья.

– Эх! – глубоко вздохнул Терентий и с тоской заговорил: – Рос бы ты поскорее! Будь-ка ты побольше – ох-хо! Ушёл бы я... А то – как якорь ты мне, – из-за тебя стою я в гнилом озере этом... Ушёл бы я ко святым угодникам... Сказал бы им. – «Угодники божий! Милостивцы и заступники! Согрешил я, окаянный!»

Горбун беззвучно заплакал. Илья понял, о каком грехе говорит дядя, и сам вспомнил этот грех. Сердце у него вздрогнуло. Ему было жалко дядю, и, видя, что всё обильнее льются слёзы из робких глаз горбуна, он проговорил:

– Ну, не плачь уж... – замолчал, подумал и утешительно добавил: – Ничего, – простят!..

И вот Илья начал торговать. С утра до вечера он ходил по улицам города с ящиком на груди и, подняв нос кверху, с достоинством поглядывал на людей. Нахлобучив картуз глубоко на голову, он выгибал кадык и кричал молодым, ломким голосом:

– Мыло! Вакса! Шпильки, булавки! Нитки, иголки!

Пёстрой, шумной волной текла жизнь вокруг, он плыл в этой волне свободно и легко, толкался на базарах, заходил в трактиры, важно спрашивал себе пару чая и пил его с белым хлебом долго, солидно, – как человек, знающий себе цену. Жизнь казалась ему простой, лёгкой, приятной. Его мечты принимали простые и ясные формы: он представлял себя чрез несколько лет хозяином маленькой, чистенькой лавочки, где-нибудь на хорошей, не очень шумной улице города, а в лавке у него – лёгкий и чистый галантерейный товар, который не пачкает, не портит одежды. Сам он тоже чистый, здоровый, красивый. Все в улице уважают его, девушки смотрят ласковыми глазами. Вечером, закрыв лавку, он сидит в чистой, светлой комнате, пьёт чай и читает книжку. Чистота во всём казалась ему необходимым и главным условием порядочной жизни. Так мечталось ему, когда никто не обижал его грубым обращением, ибо с той поры, как он понял себя самостоятельным человеком, он стал чуток и обидчив.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.